

Сильвия
Плат



Мэри Вентура
и «Девятое королевство»

[рассказы]



XX век / XXI век – The Best

Сильвия Плат

**Мэри Вентура и
«Девятое королевство»**

«Издательство АСТ»

1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963

УДК 821.111-82(73)
ББК 84(7Coe)-44

Плат С.

Мэри Вентура и «Девятое королевство» / С. Плат —
«Издательство АСТ», 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960,
1961, 1962, 1963 — (XX век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-127248-7

Взросление, брак и семья. Поиск вдохновения и своего места в обществе. Грань между жизнью и смертью, реальным и воображаемым мирами... Эти темы были близки Сильвии Плат, и именно они отражены в ее малой прозе, рассказах, написанных Плат в разные годы: некоторые из них были опубликованы еще при ее недолгой жизни, некоторые – уже посмертно. Сама же Плат была известна суровой оценкой собственного творчества, заставлявшей ее откладывать «в стол» множество удачных и талантливых произведений. Дневниковые записи Сильвии Плат, также включенные в этот сборник, открывают перед читателем ее сокровенные мысли и чувства.

УДК 821.111-82(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-127248-7

© Плат С., 1952, 1953, 1954, 1955,
1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963
© Издательство АСТ, 1952, 1953, 1954,
1955, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962,
1963

Содержание

Рассказы	6
Мэри Вентура и «Девятое королевство»	6
Джонни Паника и Библия сновидений	16
Америка! Америка!	26
День, когда умер мистер Прескотт	29
Шкатулка желаний	34
Сравнение	39
Пятнадцатидолларовый орел	41
Дочери Блоссом-стрит	50
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Сильвия Плат
Мэри Вентура и «Девятое королевство»
Sylvia Plath
JOHNNY PANIC AND THE BIBLE OF DREAMS, AND OTHER PROSE WRITING;
MARY VENTURA AND THE NINTH KINGDOM

© The Estate of Sylvia Plath, 2019

© Sylvia Plath, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963

© Перевод. В. Бернацкая, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Рассказы

Мэри Вентура и «Девятое королевство»

Автоматически замигали красные неоновые лампы, и громкоговоритель надсадно прокрипел:

– Поезд отправляется с третьего пути... поезд отправляется... поезд отправляется...

– Должно быть, твой, – сказала Мэри мать. – Уверена, так и есть. Поторопись. Пора. Билет у тебя?

– Да, мама. Мне что, нужно сразу идти? Так скоро?

– Сама знаешь, как бывает с поездами, – сказал отец Мэри. В серой фетровой шляпе он выглядел неприметно, словно путешествовал инкогнито. – Сама знаешь, как с ними бывает. Они ждать не будут.

– Знаю, папа.

Длинная черная стрелка вокзальных часов проскочила на минуту вперед. Повсюду к поездам спешили люди. А над ними, подобно куполу огромного собора, вздымался вокзальный свод.

– Поезд отправляется с третьего пути... Поезд отправляется... Поезд отправляется...

– Пора, дорогая. – Миссис Вентура взяла Мэри под руку и, подталкивая, повела по сверкающим мраморным залам.

Отец нес за ними чемодан дочери. Люди торопливо устремились к воротам, отмеченным цифрой три. Кондуктор в черной униформе и фуражке с козырьком, отбрасывающим тень на его лицо, пропускал толпу через замысловатую черную решетку ворот.

– Мама, – взмолилась Мэри, услышав яростное шипение паровоза на рельсах. – Мама, я не могу сегодня ехать. Просто не могу. Я еще не готова к поездке.

– Чепуха, Мэри, – весело оборвал ее отец. – Это все нервы. Поездка на север – вовсе не пытка. Как только войдешь в вагон, все тревоги отступят до конца пути. А там проводник скажет, что делать дальше.

– Ну, решайся, будь умницей! – Мать поправила золотистый локон, выбившийся из-под черной бархатной шляпки дочери. – Эта поездка проще простого. Все когда-нибудь покидают родной дом. Раньше или позже все уезжают.

Мэри сдалась.

– Ну хорошо, я согласна. – Она позволила провести себя через решетчатые железные ворота и дальше – по наклонной цементной платформе, где воздух был насыщен паром.

– Срочные новости! – выкрикивали продавцы газет, стоявшие у вагонов. – Срочно... десять тысяч человек приговорены к тюремному заключению... приговорены еще десять тысяч...

– Тебе не о чем волноваться, – промурлыкала мать. – Вот уж совершенно не о чем.

Мать проталкивалась сквозь хаотично напиравшую толпу и тащила за собой Мэри, которая шла за ней след в след – вплоть до предпоследнего вагона. Внутри вагона тянулся длинный ряд кресел, обитых алым плюшем, который при ярком свете плафонов принимал винный цвет; все швы в вагоне были заклепаны медными гвоздями.

– Может, тебе сесть вот здесь, в середине? – Не дожидаясь ответа, мистер Вентура закинул чемодан дочери на полку и отошел в сторону.

Миссис Вентура поднесла платок к накрашенным губам, произнесла несколько слов и осеклась. Говорить больше было не о чем.

– Прощайте, – произнесла Мэри с привычной, почти автоматической нежностью.

– Прощай, дорогая. Хорошего тебе отдыха. – И миссис Вентура, склонившись, наградила дочь легким, слегка рассеянным поцелуем.

Мистер и миссис Вентура повернулись, двинулись по проходу прочь и вышли через открытую дверь. Мэри помахала им вслед, но родители уже скрылись и не увидели этот прощальный жест. Сняв красное пальто и повесив его на медный крючок, Мэри села у окна. Большинство пассажиров уже устроились в креслах, но некоторые еще бродили по проходу, подыскивая удобное местечко. Женщина в синей куртке, державшая на руках ребенка в замызганном белом одеяле, остановилась на мгновение рядом с Мэри, но потом проследовала в конец вагона, где были свободные места.

– Здесь не занято? – обратилась к Мэри еще одна женщина. Покачиваясь и тяжело дыша, она шла по проходу с покрасневшимся лицом, сжимая в руке полотняную коричневую сумку. Ее голубые глаза утопали в сетке морщин, а крупный рот расплывался в доброй улыбке.

– Садитесь. Здесь свободно. – Мэри не смогла удержаться от ответной улыбки. Подвинувшись ближе к окну, она смотрела, как соседка снимает потертую коричневую шляпу и коричневое пальто.

– Уф, – запыхавшаяся женщина тяжело погрузилась в красный плюш. – Боялась, опоздаю. Поезд вот-вот отойдет.

– Отойдите от края, – крикнули снаружи. Дверь вагона замкнулась с резким щелчком, заперев пассажиров внутри.

– Ну вот, – сказала женщина. – Поехали.

Облачко пара тянулось за отходящим поездом, застилая перрон. Женщина порылась в сумке и вытащила вязание – начало какого-то изделия из нежно-зеленой шерсти.

– Какая красота! – воскликнула Мэри. – Что это будет?

– Платье. Со временем. – Женщина бросила на Мэри быстрый оценивающий взгляд. – Для девушки примерно твоего размера.

– Уверена, ей понравится.

Женщина посмотрела на Мэри с веселой улыбкой.

– Надеюсь, что так, – сказала она и, замолчав, погрузилась в работу.

Поезд с шумом неся по темному туннелю, когда на сиденье впереди завязалась ссора. Там сидели два маленьких мальчика, а мать в кресле сбоку читала журнал. Мальчишки играли в солдатиков.

– Верни мне этого, – потребовал черноглазый мальчик постарше. – Это мой солдат. Ты его забрал.

– Я не брал, – отпирался бледный мальчуган с всклокоченными волосами. – Даже не думал.

– Нет, брал. Я сам видел. – Старший брат схватил оловянного солдатика и ударил им брата по лбу. – Вот тебе! Поделом!

Из образовавшейся ранки стала сочиться кровь. Малыш захныкал.

– Ненавижу тебя, – скулил он. – Ненавижу.

Мать продолжала невозмутимо читать журнал.

– Ну хватит, успокойся, все хорошо, – перегнулась через спинку кресла соседка Мэри. Легким, нежным движением она промокнула краешком белого платка кровь на лбу мальчика. – Стыдно, дети, затевать ссору из-за таких пустяков. Разве парочка пустоголовых оловянных солдат стоит того!

От этого наставления мальчишки надулись, но замолчали и продолжили игру.

Женщина откинулась назад.

– Не пойму, что творится с современными детьми. Как погляжу, они становятся все хуже и хуже. – Со вздохом она вновь вернулась к вязанию. Снаружи неожиданно прорвался свет.

– Смотрите, – заметила Мэри. – Мы выбрались из туннеля.

Поезд выкатился в сумрачный осенний день, по обеим сторонам тянулись пустые поля с выжженными проплешинами. Плоский оранжевый диск в небе был солнцем.

– Как сильно пахнет дымом! – воскликнула Мэри. – И солнца такого странного цвета я раньше не видела.

– Все му виной лесные пожары, – отозвалась женщина. – В это время года с севера всегда несет дымом. Дальше будет еще хуже.

На мгновение рядом с путями мелькнула деревянная хижина с заколоченными окнами и тут же, на ходу уменьшаясь, исчезла.

– Откуда здесь, далеко от обжитых мест, взялся этот домик?

– Он нежилой. Раньше тут была первая станция, а теперь поезда здесь не останавливаются, и ее закрыли. Теперь по этой линии ходит экспресс.

Загипнотизированная ритмическим постукиванием колес, Мэри смотрела в окно. На кукурузном поле ее внимание привлекло пугало – словно распятый раб на покосившемся кресте, а вокруг шелуха от кукурузы. Темная потрепанная одежка чучела развевалась на ветру, ничем не сдерживаемая. А на земле подле нелепой фигуры важно расхаживали взад-вперед черные вороны, выклеывая зерна из сухой земли.

Поезд набирал скорость.

– Стоит, пожалуй, выпить чашечку кофе в вагоне-ресторане, – сказала женщина и спросила, обращаясь к Мэри: – Ты присоединишься?

– С удовольствием, – ответила Мэри. – Хочется немного размяться.

Они встали и направились по проходу в соседний вагон – для курящих, где у Мэри защипало в глазах. У окон стояли карточные столы, мужчины играли в покер. Официанты в белых куртках скользили с подносами между столами, разнося напитки. Звучал громкий смех; в бокалах позвякивали кубики льда.

– Ресторан дальше, – бросила женщина Мэри через плечо, не оборачиваясь. Толкнув дверь, она прошла по «гармошке» в соседний вагон. Мэри последовала за ней.

Удобно расположившись в красных плюшевых креслах, посетители угощались яблоками, сливами и виноградом из ваз, стоявших на полированных деревянных столах. Тихая – как раз подходящая к обеду – музыка лилась из установки, скрытой где-то в стене.

Женщина задержалась у столика на двоих и жестом пригласила Мэри сесть.

– Вы готовы сделать заказ? – спросил чернокожий официант в строгом белом костюме с блокнотом и карандашом в руках.

Мэри не слышала, как он подошел. Перед каждой из женщин официант поставил по стакану воды со льдом.

– Мне, пожалуй, имбирный эль, – сказала Мэри.

– А мне как обычно, – улыбнулась женщина официанту.

– Да, конечно... кофе, сливки, сахар. – Лицо официанта озарилось белозубой улыбкой, и он что-то нацарапал в блокноте.

Принесли заказ – кофе в зеленой глазированной керамической чашке и пузырящийся серебром имбирный эль в высоком бокале с красной вишенкой на дне.

– Как изысканно! – восхитилась Мэри. – Я никогда раньше не бывала в вагоне-ресторане. – Здесь просто роскошно!

– Да, – согласилась женщина, согревая ладони о чашку с горячей коричневой жидкостью. – Здесь изо всех сил стараются сделать поездку по-настоящему комфортной.

Мэри полностью расслабилась и с удовольствием потягивала имбирный эль. При нежном, рассеянном свете мягкие подушки приобрели теплый красный цвет, а музыка, льющаяся из скрытых репродукторов, плавно растекалась по залу. Неспешно допив эль, Мэри перевернула бокал верх дном, и вишенка скатилась ей в ладонь. Мэри подхватила ее губами и вонзила зубы в нежную мякоть. Было видно, как за венецианским окном оранжевое солнце садится на западе

в серую мглу. Казалось, оно уменьшилось с тех пор, как Мэри смотрела на него в последний раз, а оранжевый цвет превратился в красный.

– Только подумать! Как быстро смеркается, – заметила Мэри, глядя в окно на пустынный, затягивающийся темнотой пейзаж.

– В этом поезде практически не ощущаешь течения времени. Так здесь все продуманно, удобно. Мы только что проехали пятую станцию, а это означает, что впереди нас ждет длинный туннель. Не пора ли вернуться к себе?

– Хорошо. Но сначала надо расплатиться?

– Не надо. В конце поездки нам приплюсуют эту сумму к общему счету. – Женщина поднялась и проследовала в обратном направлении, твердо ступая по раскачивающейся «гармошке» между вагонами мчащегося поезда.

Вернувшись на свое место, она тут же принялась за вязание, а Мэри лениво провожала взглядом пронесившиеся за окном бесплодные земли. В дальнем конце вагона капризно и требовательно заплакал ребенок. Три бизнесмена, выйдя из бара, прошли мимо, смеясь тому, что их заносит от движения состава. Лампочки на потолке казались жесткими сверкающими звездами.

– Вот сукин сын, – сказал один мужчина.

– Ну ты даешь, – отозвался второй.

В серых фетровых шляпах все трое выглядели абсолютно одинаково. Спотыкаясь и покачиваясь, они, толкаясь, одолели проход, а ребенок все плакал, словно заведенный.

Поезд влетел в очередной туннель. Темный скальный массив молчаливо и стремительно пронесся рядом с окном, а колеса отщелкивали время, словно зубцы огромного часового механизма.

Дверь распахнулась, и в вагон ступил лоточник; медленно, слегка пошатываясь, он шел по проходу, выкрикивая: «Конфеты, попкорн, орехи кешью... покупайте конфеты, попкорн, орехи...»

– Сюда подойди, – позвала его женщина, расстегивая тем временем коричневую сумку и доставая потертый кошелек. – Дай нам шоколадку.

– О нет, – запротестовала Мэри. – Спасибо, я расплачусь сама.

– Что за ерунда, дорогая, – остановила ее женщина. – Это доставит мне удовольствие. Шоколад – то, что надо юным сладкоежкам. Кроме того, у тебя еще будет достаточно расходов до конца пути.

Продавец остановился рядом, надвинул ниже на лоб красную кепку и засунул большие пальцы в красно-белый полосатый жилет.

– Какую возьмете? – поинтересовался он скучным, усталым голосом. – У нас есть... – Потом неожиданно замолк, внимательно всмотрелся в женщину и хрипло рассмеялся. – А вы опять пустились в путь? – Он понизил голос, в котором слышались тихие, доверительные нотки. – Вам здесь ничего не светит. Все оформлено по правилам. Подписано, запечатано и отправлено.

– Не будь таким доверчивым, Берт, – ласково улыбнулась женщина. – Даже бухгалтеры время от времени ошибаются.

– Бухгалтеры – возможно, но не хозяин. – Хитро улыбаясь, Берт потряс своим черным кошельком – в нем звякнула мелочь. – У него все схвачено. На этот раз он сам во главе дела.

Женщина от души расхохоталась.

– Да, пора уж. Особенно после последней ошибки, когда он допустил, что поезда пересекались на более высоком уровне. Теперь ему ни за что не договориться с землевладельцами из низины, как бы он ни старался. Они привязаны к своей земле, как дети к игрушкам, и совершенно счастливы. Думаешь, теперь они ему подчинятся? Да никогда.

Берт поморщился, отчего стал похож на обезьяну.

– Да, – сдался он. – Думаю, со временем вы получите свою долю.

– Потому я и нахожусь здесь, – сказала женщина. – Так дашь ты, наконец, шоколадку?

– Большую или маленькую?

– Большую. – Женщина протянула продавцу двадцатипятицентовую монету.

– Ладно. Тогда до скорого, – произнес Берт, дотрагиваясь до кепки. – Счастливой охоты! – И он, раскачиваясь, пошел дальше по проходу, монотонно повторяя нараспев: «Конфеты, попкорн, орехи кешью...»

– Бедный Берт, – сочувственно произнесла женщина и аккуратно развернула шоколадку, не повредив при этом тонкую серебряную фольгу. – Такой одинокий. Рад хоть с кем-нибудь перемолвиться словом во время рейса. А путь такой длинный, что редко кто отваживается его повторить.

Женщина разломала шоколад и вручила кусок побольше Мэри. В воздухе разнесся нежный сладкий аромат.

– М-мм, – восхитилась Мэри. – Как дивно пахнет! – Откусив кусочек, она ждала, когда шоколад растает на языке, и, медленно посасывая его, глотала вкусный сироп.

– Вы так много знаете о нашей поездке, – сказала Мэри женщине. – Наверное, вы много путешествуете?

– О да. Сколько себя помню, все время куда-нибудь еду. Но этим маршрутом – особенно часто.

– Неудивительно. Здесь очень спокойная и уютная обстановка. Столько приятных мелочей вроде ежечасно предлагаемых закусок или напитков в баре и диванов в вагоне-ресторане. Прямо как в отеле.

Женщина метнула на нее быстрый взгляд.

– Это правда, милочка, – сухо проговорила она. – Но не забывай: за удобство надо платить. Расплачиваешься в конце пути. Сделать путешествие привлекательным – это бизнес. У железнодорожной компании заинтересованность в пассажирах замешана не на чистом альтруизме.

– Полагаю, вы правы, – рассмеялась Мэри. – Я об этом как-то не подумала. Прошу вас, скажите, что нас ждет в конце пути? Я даже вообразить не могу. В рекламном буклете ничего не сказано о тамошнем климате или о жителях северного района – совсем ничего.

Женщина вдруг решительно склонилась над вязанием. Оказалось, запуталась нитка. Пospешно исправив положение, она продолжила работу.

– Как я понимаю, ты едешь до конца, – сказала женщина.

– Да, до конца. Папа сказал, что мне не надо ни о чем беспокоиться: проводник сам скажет, куда идти дальше.

– Конечная остановка, – пробормотала женщина. – Ты уверена?

– Абсолютно. Во всяком случае, так указано на билете. Он такой необычный, что я помню даже название станции – красное на черном. «Девятое королевство». Странное название, правда?

– Ко всему можно привыкнуть, – произнесла женщина, как бы обращаясь к самой себе. – К нелепым делениям, подразделениям, классификациям. Все делается наугад. Произвольно. Но, похоже, никого это не волнует. Одно случайное движение, один решительный жест – и вся структура рухнет. Развалится.

– Не совсем понимаю, о чем вы.

– Естественно. Естественно, милая. Я немного забылась. Говорю загадками. Скажи только, не заметила ли ты, войдя в поезд, чего-то необычного в поведении людей?

– В общем, нет, – медленно протянула Мэри, оглядываясь по сторонам. – Нет, – растерянно повторила она. – Вроде все нормально себя ведут.

Женщина вздохнула.

– Наверно, я слишком чувствительна, – предположила она.

За окном замигали красные огоньки – неоновые лампы. Поезд замедлил ход, содрогаясь при въезде на очередную станцию «Девятого королевства». Дверь вагона широко распахнулась, и по проходу тяжело зашагал проводник, направляясь к блондинке с ярко накрашенным ртом. Та побледнела, закуталась в мех и отпрянула назад.

– Не сейчас, – умоляюще проговорила она. – Пожалуйста, не сейчас. Это не моя остановка. Позвольте, я поеду дальше.

– Покажите билет, – потребовал проводник. Женщина облизнула губы кровавого цвета.

– Я куда-то его засунула. Не могу найти, – сказала она.

– Он во втором пальце вашей правой перчатки, – произнес проводник бесцветным голосом. – Вы его туда засовывали, когда я входил.

Женщина раздраженно сорвала перчатку с правой руки, извлекла из отделения для второго пальца красный картонный корешок и швырнула его проводнику. Тот прокомпостировал билет, разорвал его надвое и отдал женщине меньшую часть.

– Вам на другую сторону реки, – сказал он. – Думаю, лучше сойти сейчас.

Женщина не пошевелилась. Проводник подошел ближе и ухватил ее за плечо.

– Извините, – сказал он, – но вам придется выйти. Здесь нельзя тратить время впустую. Надо придерживаться расписания. И на пассажиров у нас определенная квота.

– Хорошо, иду, – проговорила женщина с недовольной гримасой. – Только уберите руку. Это больно. И оскорбительно. – Она поднялась и направилась по проходу к двери, ее темно-красная шерстяная юбка колыхалась вокруг бедер, голова была гордо и дерзко запрокинута.

На платформе у выхода из вагона женщину уже ждали два станционных охранника. При ослепительно ярком неоновом свете они, каждый со своей стороны, вывели женщину через зарешеченные ворота наружу.

Проводник вернулся в вагон, утирая пот со лба большим красным шелковым платком. Остановившись рядом с Мэри, он широко улыбнулся ее соседке. В его черных бездонных глазах играла ледяная усмешка.

– Не так уж часто возникают у нас проблемы с пассажирами на выходе, – заявил он женщине.

Та улыбнулась в ответ, но ее голос звучал мягко и печально:

– Да, обычно никто не протестует. Наступает момент, когда все смиряются.

– Смиряются? – Мэри с любопытством смотрела на обоих: она помнила испуг в глазах блондинки, ее влажные кроваво-красные губы.

Проводник подмигнул женщине и пошел дальше по проходу. В углублениях стен горели лампочки, а над головами взмывал металлической аркой потолок.

Бьющий с перрона яркий свет сквозь окна проникал в вагон, бегло скользил по лицам пассажиров, поочередно бросая на них красноватый отблеск.

– Смириться с чем? – повторила Мэри. Ее вдруг охватила дрожь, будто настиг ледяной порыв ветра.

– Тебе холодно, милая?

– Нет, – ответила Мэри. – Так с чем смириться?

– С пунктом назначения, – ответила женщина. Приподняв с колен вязание, она принялась вновь распутывать ярко-зеленую шерсть. Ловко поймала петлю в быстро растущем изделии и нанизала ее на спицу.

Мэри не сводила глаз с ее умелых, проворных рук.

– Пассажиры покупают билеты, – продолжала женщина, молча отсчитывая петли на спице. – Покупают билеты и, следовательно, обязаны выходить на определенной станции. Они сами выбирают поезд, направление и пункт назначения.

– Я понимаю. Но эта женщина... Она казалась такой испуганной.

– Такое иногда случается. Страх возникает в последнюю минуту. Осознание поступка приходит слишком поздно. Эти люди уже не рады, что купили билет. Но, к сожалению, уже ничего не поделать. Надо было думать раньше.

– И все же не понимаю, почему нельзя передумать и ехать дальше. Разве она не могла доплатить за проезд и продолжить путь?

– Железнодорожная компания запрещает такое на этом маршруте, – сказала женщина. – Это создало бы путаницу.

Мэри вздохнула.

– Хорошо хоть остальные пассажиры, похоже, всем довольны.

– Это правда. Но именно в этом весь ужас.

– Ужас? – громче спросила Мэри. – Что вы подразумеваете под «ужасом»? Вы говорите загадками.

– На самом деле все просто. Пассажиры так *blasé*¹, так апатичны, что им все равно, куда ехать. Только в последнюю минуту, оказавшись в «Девятом королевстве», они спохватываются.

– Да что это за «Девятое королевство»? – с раздражением воскликнула Мэри. Лицо ее скривилось от боли, казалось, она вот-вот расплачется. – Что в нем такого ужасного?

– Ну будет, будет, – успокоила ее женщина. – Вот, возьми еще шоколадку – мне всю не съесть.

Мэри взяла протянутый шоколад и откусила кусочек, но на этот раз по языку словно растеклась горечь.

– Лучше ничего не знать – так спокойнее, – мягко произнесла женщина. – На самом деле ничего плохого никого там не ждет. Поезд долго идет в туннеле, и климат меняется постепенно. Если привыкнуть к холоду, не испытываешь никаких неудобств. Посмотри в окно: стены туннеля покрыл лед, но никто пока не обратил на это внимания, и никаких жалоб не было.

Мэри присмотрелась к быстро проносящимся за окном черным стенам. Серые полосы льда застыли в трещинах камней. От огней мчащегося поезда замерзшая поверхность сверкала множеством серебристых кристалликов. Девушка содрогнулась всем телом.

– Знай я это раньше, никогда бы не отправилась в путешествие. Я не хочу тут оставаться. И не останусь, – воскликнула она. – Ближайшим рейсом отправлюсь домой.

– Но на этой линии нет обратных маршрутов, – мягко возразила женщина. – Из «Девятого королевства» нет пути назад. Это королевство отрицания, замороженной воли. У него много названий.

– Да плевать мне! Я сойду на следующей станции. Ни минуты не проведу больше рядом с этими ужасными людьми. Они что, ничего не знают или им все равно, куда ехать?

– Они слепые, – ответила женщина, не спуская с Мэри глаз. – Абсолютно слепые.

– И вы тогда тоже! – вскричала Мэри, сердито глядя на женщину. – Похоже, вы ничем от них не отличаетесь. – Ее голос прозвучал визгливо, но это осталось незамеченным. Никто даже головы не повернул.

– Нет, я не слепая, – неожиданно ласково проговорила женщина. – И не глухая. Но так случилось, что я знаю: остановок больше не будет. Их нет в расписании – вплоть до прибытия в «Девятое королевство».

– Вы не понимаете. – Лицо Мэри исказилось, и она расплакалась. Слезы текли ручьем, обжигая пальцы. – Вы не понимаете. Тут нет моей вины. Родители купили мне билет. Это они хотели, чтобы яехала.

– Но ты позволила им это сделать, – настаивала женщина. – Позволила посадить себя в этот поезд, разве не так? Не бунтовала – согласилась.

¹ Пресыщенный, утративший вкус к жизни (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.

– И все-таки я не виновата, – горячо воскликнула Мэри, однако осеклась, прочтя в голубых глазах женщины немой упрек, отчего ее с головой накрыл стыд.

Стук колес навевал мысли о смерти. «Виновата, – тархтели они, словно круглые черные птицы, – виновата, виновата, виновата».

«Виновата», – позвякивали спицы.

– Нет, вы не понимаете, – вновь начала Мэри. – Позвольте вам объяснить. Чего я только не делала, чтобы остаться дома. Мне совсем не хотелось ехать. Даже на вокзале я делала попытки вернуться.

– И все же не вернулась, – сказала женщина, не переставая цеплять спицами петли зеленой шерсти; глаза ее были печальны. – Ты сделала свой выбор, не вернулась, и теперь уже ничего нельзя изменить.

Внезапно Мэри выпрямилась, в ее залитых слезами глазах вспыхнула надежда.

– Я придумала! – решительно заявила она. – Кое-что можно сделать. Пока есть время, я должна покинуть поезд. Можно попробовать дернуть шнур.

Женщина посмотрела на Мэри с лучезарной улыбкой. Глаза ее зажглись восхищением.

– А что, хорошая мысль, – прошептала она. – Ты не из робких. Решение нащупала правильное. Только оно и остается. Возможно, это единственно доступное тебе проявление воли. Я думала, что и это заморожено. Но сейчас появился шанс.

– Что вы имеете в виду? – Мэри с подозрением отпрянула от женщины. – Что значит «шанс»?

– Шанс выбраться отсюда. Послушай, мы приближаемся к седьмой станции. Мне хорошо знаком этот маршрут. Время еще есть. Я подскажу, когда дергать шнур, и тогда тебе придется бежать очень быстро. Платформа будет пуста. Никто там не ждет, что кто-то сойдет с поезда или соберется садиться.

– Откуда вам знать? Как я могу этому верить?

– О, недоверчивое дитя! – В голосе женщины звучала нежность. – Я с самого начала была на твоей стороне. Однако не имела права ничего тебе подсказать. И помочь ничем не могла, пока ты сама не приняла правильное решение. Это одно из правил.

– Правил? Каких правил?

– Правил из «Книги законов железнодорожной компании», касающихся этого поезда. В каждой организации есть свои внутриведомственные правила. Определенные инструкции, помогающие более четкой работе. Так вот, – продолжала женщина, – мы приближаемся к станции «Седьмого королевства». Сейчас ты дойдешь до конца вагона. Никто не будет за тобой следить. Дернешь шнур, и тут уже не медли, что бы ни случилось. Просто беги.

– А вы? – спросила Мэри. – Вы не пойдете со мной?

– Я? Нет, я не могу. Ты совершишь побег одна, но, будь уверена, мы скоро встретимся.

– И каким образом? Вы говорите, что обратного пути нет. По вашим словам, никто не может выбраться из «Девятого королевства».

– Есть исключения, – усмехнулась женщина. – Я не обязана соблюдать все законы. Только естественные. Однако поторопись. Пора – станция близко.

– Одну минуту. Только захвачу чемодан. В нем все мои вещи.

– Брось чемодан, – приказала женщина. – Он тебе не понадобится – скорее будет мешать. Помни одно: беги, беги во весь дух. – Женщина понизила голос: – На перроне ты увидишь ярко освещенные ворота – не иди туда. Поднимайся по лестнице, даже если она покажется тебе грязной, даже если по ней бегают ящерицы. Обещаешь пойти по лестнице?

– Да, – сказала Мэри, встала с места и, пройдя мимо женщины, оказалась в проходе.

Подчеркнуто неспешно она дошла до конца коридора. Никто не обратил на нее ни малейшего внимания. На стене был закреплен шнур с указанием «аварийный», и Мэри за него потянула.

В то же мгновение вагонную тишину разорвал жуткий вой сирены. Мэри распахнула дверь и выскользнула на качающуюся площадку между двумя вагонами. Раздался визг тормозов, скрежет и лязг металла, и поезд остановился.

Перед глазами Мэри открылась платформа «Седьмого королевства» – на ней никого не было. Одним прыжком девушка преодолела трехступенчатую подножку и, приземлившись на цементный пол, ощутила резкую боль в ступнях. Послышались крики проводников.

– Эй, Рон, что случилось? – Голос звучал хрипло.

Красный свет фонарей шарил по вагонам.

– Случилось? Я думал, это у тебя что-то не так.

Впереди были ворота, унизанные ярко-красными неоновыми фонариками, а вдали маняще звучала синкопированная джазовая мелодия. Нет, туда нельзя. Справа поднималась вверх темная лестница, зловещая и узкая. Мэри развернулась и рванула к ней; каменные стены гулким эхом отзывались на топот ног. Девушка почувствовала, как под ребрами болезненно перехватило дыхание. Крики усилились.

– Смотри! Это девчонка! Она убегает.

– Скорей лови ее! – Красный свет преследовал Мэри. Яркий поток вот-вот ее захлестнет.

– Если мы упустим хоть одного человека, хозяин нас уволит.

Мэри на мгновение задержалась на нижней ступеньке и оглянулась. Окна поезда горели золотыми квадратиками, а лица глазевших из них людей были скучными, мертвецки бледными и равнодушными. Одни только проводники спрыгивали с подножек и бежали к ней, и их лица были неестественно красными от ярких неоновых лампочек на воротах, а багровые фонари раскачивались и вспыхивали на бегу.

Крик застрял у Мэри в горле. Она припустилась бежать по лестнице – по темным крутым ступеням, которые, извиваясь, несли ее вверх. Паутина хлестала ее по щекам, но она не останавливалась и продолжала бежать, спотыкаясь и царапая пальцы о грубые, шершавые каменные стены. Маленькая юркая змейка метнулась к ней из щели в ступеньке. Мэри почувствовала ледяной холод на лодыжке, но и это ее не остановило.

Крики проводников звучали все глуше и наконец совсем стихли. Послышался шум отходящего поезда – тот продолжил путь дальше, в центр холода, громя, как отдаленный гром. Только тогда Мэри остановилась.

Прислонившись к грязной, закопченной стене, она тяжело дышала, как загнанный зверь, ощущая во рту медный привкус, который тщетно пыталась сглотнуть.

Она была свободна!

Мэри устало побрела вверх по темной лестнице, но по мере продвижения ступени становились шире, ровнее, мрак стал рассеиваться. Светлело. Понемногу проход расширился, откуда-то слышались звуки: чистый, мелодичный звон колоколов лился с городской башни. Змейка, как металлический обруч, соскользнула с ее лодыжки и ловко юркнула в каменную щель.

За следующим поворотом в глаза Мэри брызнул настоящий солнечный свет, яркий, слепящий; она вдохнула забытый запах чистого воздуха, земли, свежескошенной травы. Перед ней открылась сводчатая арка, выходящая в городской парк.

Мэри стояла наверху, жмурясь от золотого солнечного света, широко раскинувшего свои живительные сети. С тротуара взлетели голуби, белые и сизые. Они кружили над ней, и Мэри слышала смех детей, игравших в зелени кустов. Парк окружали городские башни с белыми гранитными шпилями, стекла окон сверкали на солнце.

Словно очнувшись от смертного сна, Мэри шла по посыпанной гравием дорожке, и мелкие камушки ломко хрустели у нее под ногами. Была весна. Женщина на углу продавала цветы и что-то тихо напевала. Перед ней стояли корзины, полные белых роз, нарциссов, переложенных зеленой травой, а сама женщина в коричневом пальто любовно склонилась над ними.

Когда Мэри приблизилась, женщина подняла голову и остановила на ней взгляд, светящийся торжеством и любовью.

– Я ждала тебя, дорогая, – сказала она.

Джонни Паника и Библия сновидений

Каждый день с девяти до пяти я сижу за письменным столом напротив двери офиса и печатаю на машинке сны других людей. Впрочем, не только сны. Для моего хозяина это было бы недостаточно практично. Поэтому я также записываю обычные человеческие жалобы: неурядицы с отцом или матерью, проблемы с выпивкой, или с сексом, или с головной болью, которая возникает ни с того ни с сего, не дает жить и радоваться жизни. Некоторые из проблем, думаю, не по зубам ни Вассерманам², ни Векслерам – Бельвью³.

Возможно, мышь довольно рано понимает, что миром правят огромные ноги. С моего места мне видится, что миром правит только одна штука – и никакая другая. Имя ей Паника, и у нее много лиц: собачье, дьявольское, ведьмино, лицо шлюхи и просто Паника с большой буквы, без всякого лица, – это Джонни Паника, бодрствующий или спящий.

Когда меня спрашивают, где я работаю, я отвечаю, что работаю помощником секретаря в одной из клиник при городской больнице. Это звучит настолько исчерпывающе, что меня редко спрашивают, чем я занимаюсь. Я же в основном печатаю документы. Хотя, на свой страх и риск, я тайно предаюсь своему основному призванию, от которого у врачей, знай они об этом, глаза бы на лоб полезли. У себя дома, в своей комнатухе, я называю себя ни много ни мало секретарем самого Джонни Паники.

С каждым новым сном я набираюсь опыта, становясь редким специалистом – по сути, лучшим в Психоаналитическом институте, а именно – знатоком снов. Не сомнологом, не толкователем снов, не специалистом по использованию снов для грубых, практических целей по улучшению здоровья и личной жизни, а бескорыстным собирателем снов. Любителем снов во имя Джонни Паники, их Творца.

Нет ни одного сна, напечатанного мной в регистрационном журнале, который бы я не знала наизусть. И нет ни одного сна, который я не внесла бы дома в Библию сновидений Джонни Паники.

И в этом мое истинное предназначение.

Иногда по ночам я вызываю лифт и поднимаюсь на крышу дома, где живу. Обычно это бывает в три часа. За деревьями в дальнем углу парка виден фальшфейер Объединенного фонда, он то загорается, то гаснет, словно по мановению волшебной палочки, а кое-где в нагромождениях из камня и кирпича виднеется освещенное окно. Но в основном город спит. Он спит от реки на западе до океана на востоке, подобно висящему в воздухе острову, который убаюкивает сам себя.

Я могу быть напряженной и нервной, как первая струна скрипки, и все же, когда небо светлеет, я готова ко сну. Мысль о спящих и их сновидениях влечет меня вниз, и я наконец впадаю в лихорадочное забытие. С понедельника по пятницу я только тем и занимаюсь, что записываю разные сновидения. Конечно, я не имею дела со всем городским населением, однако страница за страницей, сон за сном мои журналы становятся все толще, заставляя прогибаться полки шкафа в узком коридорчике, идущем параллельно главному коридору, в который выходят двери кабинетов врачей.

У меня выработалась смешная привычка судить о людях по их снам. По мне, так сны говорят о человеке больше, чем имя, данное ему при крещении. Например, один парень с городского завода шарикоподшипников видит каждую ночь один и тот же сон, будто он лежит

² Дейл Вассерман (1914–2008) – американский драматург.

³ Дэвид Векслер (1896–1981) – американский психолог, психиатр; в клинике Бельвью разработал шкалу Векслера – Бельвью для измерения интеллекта.

на спине, а на груди у него песчинка. Постепенно эта песчинка растет и становится все больше и больше, пока не достигает размера среднего по величине дома. И тогда он начинает задыхаться. А другой человек обзавелся своим сном после того, как ему в детстве вырезали под наркозом железы и аденоиды. Ему снится, что он борется за жизнь, зажатый станками текстильной фабрики. Он не один такой, хотя считает себя особенным. В наши дни многим снится, что их давят или проглатывают машины. Они становятся очень осторожными, избегают ездить в метро и лифтах. Я часто вижу таких людей, возвращаясь после обеда из больничного кафетерия: пыхтя и отдуваясь, они поднимаются по давно не мытой лестнице в наш офис на четвертом этаже. Иногда меня посещает мысль: а что снилось людям до появления шарикоподшипников и текстильных фабрик?

У меня тоже есть сон. Собственный. Сон о снах. В нем я вижу огромное полупрозрачное озеро, раскинувшееся во все стороны; оно слишком большое, чтобы разглядеть берега, если они вообще есть. Я смотрю на него сверху сквозь стеклянный пол вертолета. На дне озера – такого глубокого, что я могу лишь по движению и колыханию темной массы догадываться об истинных размерах этой бездны, – живут настоящие драконы. Те, которых было много до того, как человек стал жить в пещерах, готовить на огне пищу, изобрел колесо и создал алфавит. Назвать их гигантами недостаточно. У них больше складок, чем у самого Джонни Паники. Если такой сон достаточно длинный, то твои ноги и руки съежятся – ты сам это увидишь. Солнце сморщится до размера апельсина и станет во много раз холоднее, а ты окажешься в Роксбери времен последнего ледникового периода. Тогда тебе понадобится теплое, мягкое местечко вроде твоего первого пристанища, где ты сможешь грезить и плавать, плавать и грезить, пока не вернешься к этим великим первобытным существам и отпадет нужда в самих снах.

Именно в такое озеро погружается ночью человеческий разум – ручейками и сточными водами стекающий в безграничный единый резервуар. Никакого сравнения с чистыми, ярко-голубыми родниками среди сосновых рощиц и оград из колючей проволоки, которые жители окраин берегут ревностнее, чем алмаз Хоупа⁴.

Озеро – вековая канализация, и о его прозрачности говорить не приходится. Вода в нем жутко воняет и покрыта дымчатым налетом: ведь сны в ней утопают на протяжении многих веков. Если задуматься о том, сколько места занимает одна ночь сна жителя нашего города – всего лишь крошечной точки на карте мира, – и начать перемножать это число на население всей Земли, а потом еще на количество ночей, прошедших с того времени, как обезьяны стали мастерить каменные топоры и терять шерсть, тогда можно понять, что я имею в виду. Я лишена математических способностей, у меня мозг взрывается от попытки сосчитать количество снов за ночь в одном только Массачусетсе.

Со временем я уже могу разглядеть поверхность озера, кишашего змеями, раздувшимися трупами, человеческими эмбрионами, которых заманили в лабораторные колбы, где они заперты, как многие незавершенные послания великого «Я Есть». Там же я вижу целые магазины скобяных товаров: ножи, резак для бумаги, пистоны, зубцы, щипцы для орехов; торчащие из воды сверкающие передние части автомобилей с остекленевшим взглядом и оскаленными зубами. Там же человек-паук, человек-краб с Марса и простое, печальное отражение человеческого лица, навсегда, несмотря на кольца и клятвы, повернутого в сторону последнего любовника из всех.

Чаще всего в этих помоях я вижу объект настолько заурядный, что о нем даже глупо упоминать. Это всего лишь комки грязи. Озеро просто переполнено ими. Они липнут ко всему остальному или крутятся сами по себе, темные, вездесущие.

⁴ Крупный бриллиант, хранящийся в Музее естественной истории в Вашингтоне.

Называйте эту воду как хотите: Озеро Кошмаров, Болото Безумия, – но именно здесь барахтаются в своих самых жутких снах спящие люди – это огромное братство, хотя каждый в отдельности, просыпаясь, считает себя единственным и неповторимым.

Вот таков мой сон. Вы не найдете его ни в одном из регистрационных журналов. Кроме того, порядок, заведенный в нашей клинике, очень отличается от порядка, например, в клинике кожных болезней или онкологической. Все клиники имеют много общего между собой, но ни одна не похожа на нашу. У нас при лечении не выписывают лекарства. Наше лечение незримое. Оно совершается непосредственно в маленьких кабинках, в каждой из которых есть письменный стол, два стула, окно и деревянная дверь, в которую врезано окошко в виде прямоугольника с матовым стеклом. В таком врачевании есть своеобразная духовная чистота. Я понимаю, что мне выпала большая честь быть помощником секретаря в психиатрической клинике для взрослых. Моя гордость восстает против грубых вторжений в определенные дни недели в наши пенаты представителей других клиник – все из-за того, что повсюду недостает места, но наше здание очень старое, и его возможности отстают от потребностей времени. В такие дни особенно заметен контраст между нашей клиникой и остальными.

Утром во вторник и четверг у нас в одном из кабинетов берут пункцию из позвоночника. Если медицинская сестра оставит дверь открытой, что она нередко и делает, я могу мельком увидеть краешек белой койки и торчащие из-под простыни грязные желтые ступни пациента. Хотя это и малопривлекательное зрелище, я не могу отвести глаз от этих голых ног и каждые пять минут отвлекаюсь от печатания, чтобы проверить, там ли они еще и не сменили ли положение. В середине рабочего дня такое безобидное развлечение очень даже кстати. Под предлогом тщательного редактирования я часто перечитываю напечатанные страницы несколько раз, чтобы запомнить сны, которые заносу на бумагу с голоса доктора на аудиографе.

По соседству расположена клиника нервных болезней, которая является как бы грубым, лишенным всякой изощренности дополнением к нашей. Мы проводим терапию в их помещениях во второй половине дня, так как их специалисты принимают только утром. И все же ежедневно по четыре часа кряду выслушивать громкие крики, или пение, или болтовню на итальянском или китайском языках непросто. По крайней мере, это мешает работе.

Несмотря на все помехи со стороны других клиник, мой труд продвигается с большой скоростью. Теперь я не только записываю то, что следует за словами пациента: «Вот что мне приснилось, доктор». Я на пороге воссоздания снов, которые еще даже не сформировались. Снов, которые отбрасывают еле заметную тень и прячутся, как статуи, до поры до времени под красным бархатом, пока не наступит час их торжественного открытия.

Приведу пример. Одна женщина пришла на прием с распухшим языком. Он так выпирал изо рта, что ей пришлось покинуть вечеринку, которую она устроила для двадцати друзей своей свекрови из французской Канады, и срочно лечь в нашу палату интенсивной терапии. Женщине, конечно же, не хотелось ходить с торчащим изо рта языком, ей действительно было очень неудобно и неловко, но она ненавидела свою канадскую свекровь всеми фибрами души, и язык разделял эти чувства помимо ее воли. Она ничего не говорила о своих снах. Для начала мне пришлось иметь дело с голыми фактами, однако за ними я разглядела основу и очертания сна. И я занялась тем, что стала выкорчевывать этот сон из уютного местечка под ее языком.

Какой бы сон я ни откапывала с тяжелым, отнимающим уйму времени трудом и даже с подобием молитвы, я всегда находила где-нибудь в уголке отпечаток большого пальца, или какое-нибудь злорадное свидетельство справа от центра, или бесплотную, повисшую в воздухе улыбку Чеширского кота, что говорило о том, что вся работа выполнена гениальным Джонни Паникой, и им одним. Он – озорной, неуловимый, неожиданный, как удар грома, однако выдает себя слишком часто. Он обожает мелодраму – самый старый и доступный вид из множества художественных форм.

Помнится, как-то раз к нам прямо после боксерского матча в Механикс-холле попал один крепыш в черной кожаной куртке с металлическими заклепками – стопроцентный клиент Джонни Паники. Этот мужчина хоть и был хорошим католиком, добрым и честным человеком, но ужасно боялся смерти. У него волосы дыбом вставали при мысли об аде. Он был специалистом по установке люминесцентного освещения и работал сдельно. Я помню эти подробности, потому что он боялся темноты, и при его специальности это показалось мне забавным. Джонни Паника добавил в его бизнес поэтическую составляющую, очень точную. И за это ему вечная от меня благодарность.

Я четко помню сценарий сна, разработанного мною под этого человека: готический интерьер монастырского подземелья, которому не видно конца, – что-то вроде бесконечной перспективы между двумя зеркалами; стены и колонны выложены из черепов и костей, а в каждой нише – человеческий труп. Это был Коридор Времени: первые тела были еще теплые; дальше, в середине, они становились бесформенными, начинавшими гнить, а в конце – фантастически сверкающими и переливающимися чистыми, как стеклышко, костями. Помнится, я сознательно осветила эту сцену не свечами, а холодным флуоресцентным огнем, от которого кожа приобретает зеленоватый оттенок, а розовый и красный цвета становятся мертвенными, темно-фиолетовыми.

Вы спросите, с чего это я решила, будто именно такой сон снится мужчине в черной кожаной куртке. Не знаю. Я просто верю в это, и на эту веру я затрачиваю больше энергии, слез и мольбы, чем на воссоздание самого сна.

Моя работа, конечно, имеет свои ограничения. Женщина с выпирающим языком, мужчина из Механикс-холла – случаи для нас исключительные. Люди, которые по-настоящему тонут в этом топком озере, появляются у нас лишь один раз, потом их переводят на постоянное место: ведь мы работаем с пациентами только пять дней в неделю, с девяти до пяти. Даже тех, кто хоть и с трудом, но ходит по улицам и работает и еще не погрузился в болото целиком, отправляют в амбулаторное отделение другой больницы, которая специализируется на более серьезных случаях. Или они могут провести месяц или около того под наблюдением в нашей особой палате центрального корпуса, где я никогда не была.

Однако я видела секретаря этой палаты. Она сидела в нашем кафетерии во время короткого перерыва в десять часов, пила кофе и курила – только и всего, но показалась мне такой неприятной, что я с тех пор никогда не садилась рядом. У нее была чудная фамилия – точно я ее не помню, но какая-то действительно странная, вроде Миллерэвидж. Похожая на каламбур, в котором соединились Миллтаун и Ревидж⁵. Однако, перелистывая телефонный справочник, натыкаешься и на более странные фамилии – например, Хайман Дидделбокерс или Саспарилла Гринлифс. Я как-то просматривала телефонный справочник и была приятно удивлена тем, как много людей на свете носят фамилию, отличную от Смит.

Эта мисс Миллерэвидж – крупная женщина, не толстая, но породная и вдобавок высокая. Поверх своей плотной основы она носит серый костюм, который вызывает у меня смутное представление об униформе, не говоря уж о покрое – в высшей степени военизированном. Ее массивное бычье лицо покрыто большим количеством крошечных пятнышек, словно она какое-то время провела под водой и малюсенькие табачного и зеленого цвета водоросли прилипли к ее лицу. Эти пятнышки особенно заметны на ее мертвенно-бледной коже. Иногда я задаюсь вопросом, была ли когда-нибудь мисс Миллерэвидж на солнце. Нисколько не удивлюсь, если окажется, что ее с колыбели растили при искусственном освещении.

Бирна, секретарь клиники для алкоголиков, что через холл от нас, познакомила меня с мисс Миллерэвидж под тем предлогом, что я «тоже была в Англии».

Как выяснилось, мисс Миллерэвидж провела в лондонских больницах свои лучшие годы.

⁵ Milltown – фабричный город; Ravage – порча (англ.).

– У меня была подруга, – пробасила она грубым голосом, не устаивая меня взглядом, – медсестра в Барте. Пыталась с ней связаться после войны, но в больнице уже другая старшая медсестра, все изменилось, и о моей подруге никто не слышал. Должно быть, сгинула вместе с бывшей старшей медсестрой под обломками во время бомбежек. – Эти слова она сопровождала противной ухмылкой.

Я видела, как студенты-медики потрошат трупы; как четырех мертвецов, столь же не похожих на людей, как Моби Дик, притащили в класс; видела, как те же студенты перекидывались печенью, как мячиком. Слышала шутки о том, как женщину из палаты для бедняков неправильно зашили после родов. Но выдержать раскатистый хохот мисс Миллерэвидж не смогла бы. Нет уж, спасибо. Клянусь, если попытаться выколоть ей глаза булавкой, наткнешься на твердый кварц.

У моей начальницы тоже есть чувство юмора, но оно мягкое. Как у Санты в Рождественский сочельник.

Я работаю на мисс Тейлор, пожилую даму; она ответственный секретарь и занимает этот пост уже тридцать три года – с момента открытия клиники, по странному стечению обстоятельств произошедшего в год моего рождения. Мисс Тейлор знает каждого доктора, каждого пациента, каждый промах – устаревшее предписание, неправильное назначение, – а также все о платежных счетах, которые вела клиника – или думала, что ведет. Она не собиралась расставаться с клиникой до тех пор, пока не перейдет на зеленые пастбища пенсионного обеспечения. Я не видела другой женщины, столь же беззаветно преданной своей работе. Она относилась к статистике так же трепетно, как я к снам, и если б вдруг здание клиники загорелось, то скорее стала бы спасать данные по статистике, чем свою жизнь.

Мы хорошо ладим с мисс Тейлор. Единственное, в чем я не пойду ей навстречу, – это никогда не стану читать старые регистрационные книги. Для этого у меня действительно нет времени. В нашей клинике работа кипит, как на фондовой бирже. В штате в общей сложности двадцать пять врачей, все время толкутся студенты, пациенты, их родственники, представители других клиник, приводящие к нам больных на консультацию, так что, даже оставшись в одиночестве, когда мисс Тейлор уходит выпить кофе или пообедать, мне редко удастся сделать одну или две записи.

Лучшие сны занесены в старые журналы, они рассказаны людьми, всего раз или два приходившими к нам на экспертизу, прежде чем их отправляли в другие места. Для переписывания этих снов требуется время, много времени. А условия для неспешной реализации моего истинного призвания далеки от идеальных. Требуется доля безрассудства, чтобы работать в таких условиях, а я мечтаю о безграничном досуге истинного знатока, который сначала долгое время убаживает себя запахом коньяка и лишь потом пробует его на вкус.

В последнее время я часто представляю себе, какое это было бы облегчение, если б я могла приносить на работу портфель – достаточно большой, чтобы в нем поместился один из толстых синих, в тканевом переплете регистрационных журналов, полных снов. В обеденный перерыв мисс Тейлор или в период временного затишья перед приходом на дневной прием докторов и студентов я могла бы тихонько снять с полки журнал десятилетней или пятнадцатилетней давности, положить его в портфель и держать под столом до пяти часов. Конечно, необычными свертками может заинтересоваться охранник. В наш штат входят работники полиции, обязанные выявлять многочисленные случаи воровства, но, бога ради, я ведь не собираюсь выносить пишущие машинки или героин. Я только возьму на одну ночь журнал, а наутро верну его на полку еще до прихода других сотрудников. И все же, если узнают, что я выношу журнал из клиники, я могу потерять работу, а с ней и нужный мне материал.

Мысль о том, чтобы без всяких помех поразмышлять над регистрационным журналом в собственном жилище, пусть и проведя из-за этого бессонную ночь, будоражила мое воображение, и я проявляла все большее нетерпение, дожидаясь, когда мисс Тейлор отправится

на получасовой перерыв, а я тем временем пороюсь в старых журналах. Загвоздка в том, что невозможно узнать заранее, когда мисс Тейлор вернется на рабочее место. Она так трепетно относится к работе, что, если б не хромала на левую ногу, с нее бы стало сокращать получасовой перерыв на обед и двадцатиминутный – на кофе. Впрочем, ее приметная из-за хромоты поступь всегда предупреждает меня, когда пришло время засунуть журнал в ящик стола и притвориться, что я работаю над телефонным сообщением или еще чем-то. Единственное испытание для моей нервной системы может устроить клиника протезирования, расположенная за углом в противоположном направлении от клиники нервных болезней: бывает, у меня сердце подпрыгивает из-за ложной тревоги, когда я принимаю стук протеза за шаги мисс Тейлор, возвращающейся с обеда.

В наихудшие дни, когда мне не удавалось извлечь из старых журналов ни одного сна, а приходилось переписывать нытье второкурсников, которые не могли уловить смысл «Камино Реаль»⁶, я чувствовала, как Джонни Паника поворачивается ко мне спиной, неподвижный, как Эверест, выше самого Ориона, и девиз великой Библии снов «Совершенный страх изгоняет все остальное» остается пеплом и лимонной водой на моих губах. Я изъеденный червями отшельник в стране откормленных свиней, которые находятся в таком благодушном состоянии от поедания сладкой кукурузы, что не видят бойню в конце дороги. Я измученный снами Иеремия в Стране Кокейн⁷.

Что еще хуже, я вижу, как эти психологи стараются всеми способами отвести от Джонни Паники его поклонников – и лаской и таской, а пуще всего – разговорами, разговорами, разговорами. Мои предшественники – бородатые, с глубокими серьезными глазами собиратели снов – отличаются от своих современных коллег в белых пиджаках, с кабинетами, обшитыми узловатыми сосновыми панелями, с кожаными диванами: они используют сны в практических целях – здоровье и деньги, деньги и здоровье. Чтобы принадлежать к обществу Джонни Паники, нужно забыть о человеке, а помнить лишь сон: спящий – всего лишь транспортное средство для великого Творца Снов. Такого сейчас не встретишь. Джонни Паника – золото в глубине недр, а горе-психологи пытаются извлечь его оттуда с помощью желудочного зонда.

Вот, например, что случилось с Гарри Бильбо. Он пришел в нашу клинику, и рука Джонни Паники тяжело, как крышка свинцового гроба, лежала на его плече. У него были интересные мысли о грязи в нашем мире. Я сочла, что он достоин занять важное место в Библии снов Джонни Паники, а именно в Третьей книге страхов, девятая глава которой посвящена грязи, болезни и общему упадку. Друг Гарри, когда они были еще школьниками, играл на трубе в бойскаутском оркестре. Гарри Бильбо тоже иногда играл на его трубе. Через какое-то время товарищ заболел раком и умер. А не так давно в дом Гарри пришел онколог: посидел на стуле, провел большую часть утра с матерью Гарри, а уходя, пожал ей руку и сам открыл дверь. И вдруг Гарри Бильбо перестал играть на трубе, садиться на стулья и пожимать руки, даже если б все кардиналы Рима захотели его благословить, – и все из-за страха заболеть раком. Теперь мать нажимала для него кнопки телевизора, включала и выключала воду, открывала и закрывала двери. Вскоре Гарри перестал ходить на работу из-за плевков и собачьего дерма на улицах. Ведь сначала вся эта дрянь, считал он, пристаёт к туфлям, а когда их снимаешь, попадает на руки и во время обеда прямоком отправляется в рот, и даже святая Дева Мария не спасет от такой цепной реакции.

Кончилось дело тем, что Гарри бросил заниматься тяжелой атлетикой в спортзале после того, как увидел там инвалида, упражнявшегося с гантелями. Как знать, какие микробы облюбовали себе место за ушами и под ногтями этого инвалида! Дни и ночи Гарри Бильбо проводил

⁶ Пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса.

⁷ Сказочная страна изобилия и праздности в средневековых легендах.

в благочестивом почитании Джонни Паники, подобно священнику среди кадил и таинств. И он был по-своему красив.

Ну, эти «сапожники» в белых пиджаках – их было много – разговорами на диванах убедили Гарри в конце концов нажимать кнопки телевизора, поворачивать краны и открывать двери. Еще до окончания лечения он уже сидел на стульях в кинозалах и на скамейках в городском парке и занимался тяжелой атлетикой в спортзале, хотя один инвалид занимался там на гребном тренажере. В конце лечения Гарри даже обменялся рукопожатием с директором клиники. По его словам, он стал «другим человеком». Чистый свет Паники покинул его лицо. Из клиники он вышел, обреченный на заурядную жизнь, которую доктора называют здоровой и счастливой.

Приблизительно в то время, когда произошло исцеление Гарри Бильбо, новая мысль забрезжила у меня в мозгу. Она не оставляла меня в покое, как и голые ступни, торчавшие из кабинета, где берут пункцию. Если я не хочу рисковать и не решаюсь вынести из клиники журналы из-за страха быть пойманной, уволенной и вынужденной навсегда прекратить свои исследования, мне следует оставаться в клинике на ночь, что основательно ускорит работу. Я еще очень далека от того, чтобы исчерпать ресурсы клиники, а то мизерное количество случаев, о которых я могу прочесть за время кратких отлучек мисс Тейлор, – ничто по сравнению с тем, что можно сделать за несколько ночей прилежной работы. Мне следует ускорить свою деятельность, если я хочу утереть нос тем докторам.

Еще ничего до конца не уяснив, я уже в пять надела пальто, попрощалась с мисс Тейлор, которая обычно ненадолго задерживалась на работе, чтобы проверить дневные статистические данные, и незаметно прошмыгнула в дамскую комнату. Там никого не было. Я зашла в туалет для пациентов, заперлась изнутри и стала ждать. Я догадывалась, что одна из уборщиц может постучать в дверь, подумав, что кто-то из больных потерял сознание на унитазе, и скрестила пальцы на удачу. Примерно через двадцать минут дверь дамской комнаты отворилась, и кто-то осторожно переступил через порог – словно курица, берегущая увечную лапку. По печальному вздоху перед не знающим жалости зеркалом я поняла, что это мисс Тейлор. Я услышала возню и постукивание разных туалетных мелочей у умывальника, плеск воды, потрескивание гребня в завитых волосах, а потом скрип расшатавшейся двери за выходящей начальницей.

Мне повезло. Когда в шесть часов я вышла из дамской комнаты, свет в коридоре уже был выключен и наш четвертый этаж казался пустым, как церковь в понедельник. У меня есть собственный ключ от нашего отдела, ведь каждое утро я первая прихожу сюда, так что с этим проблем нет.

Пишущие машинки убраны, на телефонах замки – словом, в мире царит порядок.

За окном меркнет последний зимний свет. Я осторожно включаю потолочный светильник: не хочется, чтоб меня обнаружили глазастые доктора или сторож в больничной пристройке с другой стороны двора. Шкаф с нужными материалами стоит в нише коридора без окон, но напротив располагаются кабинки, окна которых выходят во двор. Убедившись, что все двери закрыты, я включаю свет в коридоре – тусклую лампочку в двадцать пять ватт, темнеющую на потолке. Но сейчас она кажется мне ярче алтаря со множеством свечей. Я не догадалась взять с собой сандвич. В ящике стола лежит яблоко, оставшееся после обеда, но я не трогаю его, сохранив на случай приступа голода после полуночи, и вытаскиваю из кармана записную книжку. У меня вошло в привычку каждый вечер дома вырывать из нее странички, исписанные на работе в течение дня, и складывать в одно место, сохраняя для рукописи. Так я заметаю следы, чтобы никто, случайно заглянув в мою записную книжку, не догадался о характере или масштабах моей работы.

Я начинаю действовать методично и первым делом раскрываю самый старый журнал на нижней полке. Когда-то синяя, обложка теперь не имеет определенного цвета, страницы замуслены и запачканы, но меня охватывает бурная радость: это собрание снов началось в день

моего рождения. Когда дело наладится, к холодным зимним ночам я буду заготавливать горячий суп в термосе, а еще пироги с индейкой и шоколадные эклеры. Буду приносить щипцы для завивки и четыре смены блузок в большой сумке. Каждый понедельник. Чтобы никто не заподозрил, что я перестала следить за собой, или переживаю любовное разочарование, или вступила в розовое сообщество, или четыре ночи в неделю работаю над книгой о снах в нашей клинике.

Прошло одиннадцать часов. Я догрызаю яблоко и переносусь в май 1931 года, когда одна частная медсестра, достав из шкафа пациента мешок для белья, увидела в нем пять отрубленных голов, в том числе и голову своей матери. И тут мой затылок обдало холодом. С того места, где я сижу по-турецки на полу с тяжелым журналом на коленях, уголком глаза я замечаю, что из-под двери ближайшего ко мне кабинета пробивается синеватый свет. И не только из-под двери, но и сбоку. Это странно: ведь я с самого начала убедилась, что все двери плотно закрыты. Полоса света становится шире, и мой взгляд останавливается на двух неподвижных туфлях, повернутых мысками ко мне.

Это коричневые кожаные туфли иностранного производства на толстой подошве. Чуть повыше – черные шелковые носки, сквозь которые просвечивает белая кожа ног. Взгляд мой поднимается выше, до отворота на серых брюках в тонкую светлую полосу.

– Ну и ну, – слышится добродушное ворчание откуда-то сверху. – Какое неудобное положение! Ноги у тебя, наверно, совсем затекли. Давай помогу. Скоро солнце взойдет.

Меня подхватывают сзади под мышки, и вот я, расслабленная и колыхающаяся, как заварной крем, уже стою на ногах, которых не чувствую – они действительно онемели. Журнал падает на пол, страницы раскрываются.

– Не двигайся пока, – слышу я правым ухом голос директора клиники. – Скоро циркуляция восстановится.

Мои бесчувственные ноги начинают пронзать миллионы острых иголок, а в сознании проступает облик директора. Мне даже не нужно оглядываться: большой живот, втиснутый под серый в полосу жилет, желтые и неровные, как у сурка, зубы и глаза неопределенного цвета за толстыми линзами очков – быстрые, как мелкая рыбешка.

Я крепко сжимаю записную книжку – оставшуюся на плаву последнюю доску «Титаника». Что ему известно, что он знает?

Все.

– Я знаю, где найти тарелку горячей куриной лапши. – Голос его тихо шуршит – как пыль под кроватью, как мышь в соломе, рука по-отечески ложится на мое левое плечо. Журнал со снами, приснившимися горожанам в ночь, когда раздался мой первый крик в этом мире, он заталкивает под шкаф мыском до блеска начищенной туфли.

В предраассветной мгле холла никого не видно. Нет никого и на ведущей на цокольный этаж холодной каменной лестнице, на ступенях которой однажды вечером поскользнувшийся второпях посыльный Билли разбил себе голову. Я ускоряю шаг, стараясь, чтобы у директора не сложилось впечатление, что он меня подгоняет.

– Вы не можете меня уволить, – говорю я спокойно. – Я сама уйду.

Смех директора слышится откуда-то из его сложенного гармошкой нутра.

– Нам с тобой нельзя так быстро расстаться. – Его шепот ползет змеей по цокольным свежепобеленным коридорам, отдаваясь эхом среди коленчатых труб, кресел-каталок и носилок, оставленных на ночь у запотевших стен. – Ты нужна нам больше, чем думаешь.

Мы идем по этому лабиринту, иногда пригибаясь, и я стараюсь двигаться с директором в ногу, пока один из этих крысиных туннелей не приводит нас к работающему сутки напролет лифту, которым управляет однорукий негр. Мы входим внутрь, дверь со скрипом закрывается, словно в вагоне для перевозки скота, и лифт поднимается все выше и выше. Этот лифт

грузовой, он гремит и лязгает – ничего общего с обитыми плюшем пассажирскими лифтами, к которым я привыкла в основном здании клиники.

Мы выходим на неизвестном мне этаже. Директор ведет меня по голому коридору, на потолке горят редкие лампочки в проволочных сетках. По обеим сторонам коридора – ряды закрытых дверей с небольшими прикрытыми окошками. Я решаю, что мы с директором станем у первого же красного указателя с надписью «Выход», но на нашем пути они не попадают. Я на чужой территории, мое пальто висит на плечиках в офисе, сумочка и деньги лежат в верхнем ящике письменного стола, записная книжка зажата в руке, и только Джонни Паника согревает меня, спасая от ледникового периода снаружи.

Свет впереди мерцает, становясь все ярче. Директор, тяжело дыша от явно непривычной для него долгой быстрой ходьбы, подталкивает меня за угол, и мы оказываемся в квадратной, ярко освещенной комнате.

– Вот она.

– Маленькое чудовище! – Мисс Миллерэвидж поднимает свое огромное тело из-за стального стола напротив двери.

Стены и потолок комнаты покрыты стальными листами, жестко скрепленными друг с другом. Окон в комнате нет. Я вижу, как из маленьких зарешеченных камер в стенах комнаты на меня смотрят первосвященники Джонни Паники: они в белых ночных рубашках, руки связаны за спиной, глаза горят голодным блеском.

Они приветствуют меня какими-то странными звуками, похожими на кваканье и хрюканье, будто у них скованы языки. Я вижу, что им известно о моей работе через созданную Джонни Паникой систему оповещения, и они хотят знать, как много в мире его сторонников.

Я поднимаю руки, показывая, что все в порядке, и сжимаю при этом записную книжку; голос мой звучит без остановки, как орган Джонни Паники.

– Тише! Я принесла вам...

Книга.

– Не заводи опять эту песню, дорогая. – Мисс Миллерэвидж выплывает из-за стола, двигаясь как дрессированный слон.

Директор закрывает дверь в комнату.

Как только мисс Миллерэвидж делает первый шаг, я вижу, что за ее огромным телом скрывается койка, высотой примерно по пояс, матрас которой туго застелен белоснежной простыней без единого пятнышка. В изголовье койки – столик, на нем металлическая коробка, покрытая циферблатами и датчиками.

Мне кажется, что коробка смотрит на меня как злобная медянка, свернувшаяся кольцами электрических проводов, – последняя модель убийц Джонни Паники.

Я держусь наготове, чтобы увернуться от нападения. Мисс Миллерэвидж пытается поймать меня, но ее жирная рука захватывает только воздух. Она предпринимает вторую попытку – с улыбкой убийственной, как мертвый сезон в августе.

– Перестань сейчас же! Хватит! Я заберу у тебя эту маленькую черную книжицу.

Я быстро обегаю высокую белую койку, но мисс Миллерэвидж двигается еще быстрее – можно подумать, она на роликах. Ей удастся ухватить меня – и я оказываюсь в западне. Я молочу кулаками по ее мощному телу, по огромным, не знавшим молока грудям, но ее ладони наручниками сжимаются на моих запястьях, и я задыхаюсь от любовного зловония, более отвратительного, чем смрад в подвале гробовщика.

– Дитя, дитя мое, вернись ко мне...

– Она снова увлеклась Джонни Паникой, – печально и сурово произносит директор.

– Вот озорница.

Белая койка готова. С пугающей нежностью мисс Миллерэвидж снимает часы с моего запястья, кольца с пальцев, вытаскивает шпильки из волос. Она начинает меня раздевать. Когда я остаюсь голой, мне чем-то смазывают виски, а потом закутывают в простыни – девственно чистые, как свежевypавший снег.

И тут из четырех углов комнаты и от двери за моей спиной выступают пять лжесвященников в белых хирургических халатах, чья единственная жизненная цель – сместить Джонни Панику с его трона. Они укладывают меня навзничь на койку. Надевают на голову корону из проводов, на язык кладут таблетку забвения. Лжесвященники занимают свои позиции: один держит мою левую ногу, другой – правую, один – мою правую руку, другой – левую. Один стоит за моей головой, и я не вижу, что он делает с металлической коробкой.

Из тесных камер в стенах мои сторонники громко протестуют. Они запевают праведный гимн:

Страх – единственное, что стоит любить,
Любовь к Страху – начало мудрости.
Страх – единственное, что стоит любить,
Так пусть повсюду царит Страх, начало начал.

Ни мисс Миллерэвидж, ни директор, ни лжесвященники не успевают заткнуть им глотки.
Сигнал дан.

Система дает сбой.

И в тот момент, когда мне кажется, что все кончено, на потолке у меня над головой появляется лицо Джонни Паники в нимбе света. Я дрожу, как лист, в лучах славы.

Борода его горит огнем. В глазах свет. Слово его пронизывает и освещает вселенную. В воздухе шелест его ангелов в синих языках пламени.

Его любовь – это прыжок с двадцатого этажа, веревка на шее, нож в сердце.

Он не забывает своих.

Америка! Америка!

Я ходила в среднюю школу – в высшей степени среднюю. Туда ходили *все*: активные и робкие, коротышки и дылды, будущий компьютерщик и будущий полицейский, который однажды даст пинка диабетiku, ошибочно приняв того за пьяного и желая привести его в чувство, отчего тот скончается; дети бедняков, пахшие кислой шерстью, детскими пеленками и рагу непонятного происхождения; те, что побогаче, – с убогими меховыми воротниками, колечком с опалом (по месяцу рождения) и автомобилем у отца. («Кем работает твой папа?» – «Он не работает, он водит автобус». Дружный смех.) Образование, бесплатное для большинства, – было приятным бонусом для переживавших депрессию американцев. Но *мы*, конечно, не пребывали в депрессии. Ее мы оставляли родителям, которые с трудом тянули одного-двух детей, а после работы и скудного ужина усаживались, усталые, у радиоприемника, чтобы послушать новости о родной стране и мужчине с черными усами по имени Гитлер.

Кроме того, мы не ощущали себя американцами: живя в шумном приморском городке, первые десять лет учебы я впитывала в себя, как губка, особенности быта разных этнических групп: ирландских католиков, немецких евреев, шведов, негров, итальянцев и редких потомков пассажиров «Мейфлауэр»⁸ – англичан. Для руководства малолетними гражданами доктрина Свободы и Равенства подходила как нельзя лучше, она производила впечатление на учащихся бесплатных общественных школ. Хотя мы могли считать себя почти «бостонцами» (городской аэропорт, живописно парящие в вышине самолеты и порывающие, отливающие серебром аэростаты над заливом), все же именно нью-йоркские небоскребы украшали, словно иконы, стены наших жилищ, – они и огромная зеленая королева с факелом в руке, охраняющая нашу Свободу.

Каждое утро, приложив руки к сердцу, мы клялись в верности американскому флагу, висевшему над учительским столом, как над алтарем. И пели написанные для сопрано песни, полные порохового дыма и патриотизма, дрожащими высокими голосами. Одна красивая, возвышенная песня о «величии пурпурных гор над щедрыми равнинами» будоражила во мне начинающего поэта и заставляла плакать. В те дни я не смогла бы описать разницу между «щедрой равниной» и «величием гор» и почитала Богом Джорджа Вашингтона (чье кроткое старушечье лицо с аккуратными седыми буклями взидало на нас со школьных стен), но тем не менее с упоением горланила с такими же маленькими, желторотыми соотечественниками: «Америка! Америка! Господь тебя благословил и братством от моря до моря народ твой вознаградил!»

О море мы кое-что знали. Почти все улицы вели к нему. Оно наступало, и отступало, и швыряло на берег фарфоровые тарелки, деревянных обезьянок, элегантные раковины и ботинки утопленников. Соленый морской ветер постоянно рыскал по нашим игровым площадкам с готическими сооружениями из гравия, щебня, гранита и примятых кусков земли, злобно стараясь огрубить и поранить нашу нежную кожу. Там же мы обменивались игральными картами (ценились рисунки на рубашке), рассказывали неприличные истории, прыгали через веревочку, бросали камешки и разыгрывали радиопьесы и комиксы того времени («Кто знает, какой порок таится в сердцах людей? Призрак знает – нет, нет, нет!») или «Посмотри на небо! Там птица, там самолет, там Супермен!»). В жизни нас ожидало разное: рутина, страдания, ограниченность, рок, но мы этого не знали. Мы радовались, плескались, играли в вышибалы – открытые и полные надежд, как само море.

⁸ На корабле «Мейфлауэр» англичане в 1620 г. пересекли Атлантический океан и основали Плимутскую колонию, одно из первых британских поселений в Северной Америке.

В конце концов, мы могли стать кем угодно. При условии, что будем трудиться. И усердно учиться. Наш акцент, деньги, родители не имели значения. Разве из семей угольщиков не выходили юристы – или доктора из семей мусорщиков? Все решает образование, и бог знает как мы его получали. Думаю, в раннем детстве это происходило само собой – через мистическое инфракрасное излучение от замусоленных таблиц умножения, дурные стихи, в которых воспевался колокольный звон, и золотисто-голубой октябрь, и мир истории, вращавшийся вокруг Бостонского чаепития⁹, – так что даже отцы-пилигримы и индейцы в нашем сознании принадлежали к почти доисторическим временам.

Потом нас всех охватила навязчивая мысль о колледже, ее словно принес какой-то неуловимый, опасный микроб. Каждый обязан был поступить в тот или иной колледж. Коммерческий колледж, спортивный колледж, колледж штата, колледж подготовки секретарей, колледж Лиги плюща, колледж свиноводов. Сначала книга – потом работа. К тому времени, когда мы (будущие коп и компьютерщик) дозрели и влились в преуспевающую в послевоенные годы среднюю школу, штатные инструкторы-консультанты все чаще вызывали нас к себе для обсуждения наших планов, надежд, школьных предметов, профессий – и колледжей. Лучшие преподаватели обрушились на нас метеоритным дождем. Учителя биологии рассуждали о человеческом мозге, учителя литературы вдохновляли нас своими пылкими речами о Толстом и Платоне, учителя рисования водили нас по трущобам Бостона, и потом, вернувшись к мольбертам, мы примешивали в школьную гуашь социальное знание и ярость. Эксцентричность, непохожесть на других осуждалась и подвергалась осмеянию, как сосание большого пальца.

Инструктор-консультант для девочек мигом выявила мою проблему. Я была слишком способной, и в этом заключалась главная опасность. Мои неизменно высшие баллы по всем предметам не говорили о моем основном предназначении и без необходимой внеклассной подготовки могли ни к чему не привести. Колледжи все больше предпочитали всесторонне одаренных учащихся. А я к тому времени уже прочла Макиавелли. В этом я увидела свой шанс.

У моего инструктора-консультанта была сестра-близнец, такая же белокурая, абсолютная ее копия, но я об этом не знала. Я часто встречала ее то в супермаркете, то у дантиста. Этой сестре я рассказывала о своем расширяющемся поле деятельности: как я жую апельсиновые дольки в зале, где проводятся женские баскетбольные матчи (я создала команду), рисую мамонта, Малыша Эбнера и Дейзи Мэй¹⁰ для классных танцев, выклеиваю макеты школьной газеты в полночный час, в то время как мой уже клюющий носом помощник читает вслух анекдоты из последней колонки «Нью-Йоркера». Смущенное и обескураженное выражение лица близняшки нисколько не мешало моим излияниям, как и явные проявления амнезии у ее столь же непонятливого двойника в школе. Я превратилась в яростного тинейджера-прагматика.

«Привычка – это истина, истина, привычка», – могла бормотать я, подтягивая носки на высоту, принятую среди моих одноклассников. У нас не было официальной формы, но была неофициальная: стрижка «под пажа», безукоризненно чистые юбка и свитер, лоферы, которые выглядели как поношенные индейские мокасины. При всей нашей демократичности у нас имелись два снобистских пережитка – два женских клуба, «Сабдеб»¹¹ и «Шугар-н-спайс»¹². В начале каждого учебного года новые девочки – хорошенькие, пришедшие ко двору и в какой-то степени соперницы – получали приглашения от тех, кто учился уже не первый год. За неделей инициации следовало торжественное вступление в ряды привилегированных. Учителя возражали против такой традиции, мальчики ее высмеивали, но не могли этому помешать.

⁹ Акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 г., когда в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Ост-Индской компании.

¹⁰ Персонажи вымышленного американского городка Собачий угол – семья Йокум, герои комиксов и фильмов.

¹¹ Девушка-подросток (англ.).

¹² Сахар и специи (англ.).

Мне тоже, как всякой новенькой, назначили Большую Сестру, которая стала систематически разрушать мою личность. Целую неделю я не могла пользоваться косметикой, мыться, причесываться, менять одежду и разговаривать с мальчиками. На рассвете я шла к Большой Сестре, застилала ее постель и готовила завтрак. Затем волочила ее невыносимо тяжелые книги вместе со своими в школу. Я плелась за ней следом как собачка. По пути она могла приказывать мне залезть на дерево и висеть на суку, пока не свалюсь, или задать какой-нибудь грубый вопрос прохожему, или выпрашивать в магазине гнилой виноград или заплесневелый рис. Если я усмехалась, как бы иронизируя над собственным рабством, мне приходилось опускаться на колени прямо на тротуаре, пряча улыбку. Как только раздавался звонок, возвещающий об окончании уроков, Большая Сестра обретала надо мной власть. К концу дня от меня плохо пахло, все тело ныло; мне было не до домашнего задания, в голове гудело, мозги не варили. Из меня лепили девочку на побегушках.

Однако эта инициация не сделала меня членом клуба. Возможно, я просто была слишком странной. Чем занимались эти избранные бутоны американской женственности на своих собраниях? Поедали пирожные и заодно, закатывая глаза, обсуждали субботние свидания. Привилегия быть кем-то оборачивалась своей обратной стороной – обязанностью быть всем, то есть никем.

Недавно я внимательно изучала, что творится за витриной нынешней американской начальной школы: столы и стулья нужного размера из светлого, без изъянов дерева, игрушечные плиты и крошечные питьевые фонтанчики. Всюду солнечный свет. Тот анархизм, неудобства и гравий, которые я с нежностью вспоминаю теперь, двадцать пять лет спустя, облагородили. У одного класса утренние уроки проходили в автобусе: они учились оплачивать проезд и спрашивать нужную остановку. Чтение (мы уже к четверем годам учились читать по мыльным оберткам) превратилось в такое сложное, травмирующее искусство, что хорошо, если к десяти годам это входило в привычку. Однако дети лучезарно улыбались в своем маленьком мирке. Правда ли это или мне лишь показалось, что я мельком увидела в медицинском кабинете сверкающие колбочки с успокоительным, призванным уничтожить в зародыше задатки бунтаря, художника, чудака?

День, когда умер мистер Прескотт

Старый мистер Прескотт умер в жаркий солнечный день. Мы с мамой сидели на боковых местах разболтанного зеленого автобуса, следующего от метро до Девоншир-Террас, и всю дорогу тряслись и подпрыгивали. Пот стекал у меня по спине, я остро это ощущала, а моя черная льняная одежда плотно прилипла к сиденью. Стоило мне пошевелиться, как ткань издавала рвущийся звук, и я бросала на маму сердитый взгляд (вот видишь!), словно в этом была ее вина. Но она просто сидела со сложенными на коленях руками, подпрыгивая вверх-вниз, и ничего не говорила. Видно было, что она смирилась с неизбежным.

– Послушай, мама, – сказала я утром после звонка миссис Мейфэр, – я готова идти на похороны, хоть и не верю во все эти обряды, но зачем нам все время сидеть с ними и следить за происходящим?

– Так принято, когда умирает кто-то из близких, – спокойно ответила мама. – Тогда ты едешь и сидишь с родными. Это тяжелое время.

– И что из того, что сейчас тяжелое время? – возразила я. – Что мне делать, если я не видела Лиз и Бена Прескоттов с тех пор, как была совсем маленькой, и всего раз в год, на Рождество, ездила к миссис Мейфэр с подарками? Может, сидеть рядом, утираясь платочком?

После этих слов мама поднялась с места и дала мне по губам, как когда-то в далеком детстве, когда я плохо себя вела.

– Ты поедешь со мной, – произнесла она уверенно, с чувством собственного достоинства, что исключало возможность дальнейших препирательств.

Вот так и случилось, что я ехала теперь в автобусе в самый жаркий день года. Я не была уверена, что следует надеть, когда собираешься сидеть рядом с родственниками покойного на подобной церемонии, но решила, что черная одежда будет в самый раз. Поэтому выбрала элегантный черный полотняный костюм и маленькую шляпку с вуалью, вроде тех, что надеваю на работу, если ужинаю не дома.

Тяжело пытаясь, наш автобус въехал в самый дрянной район Восточного Бостона, где я не была с детства – с тех пор, как мы переехали в сельскую местность с тетей Майрой. На новом месте я скучала только по океану. Даже сегодня, сидя в автобусе, я поймала себя на мысли, что только и жду, когда за окном мелькнет голубая полоска.

– Смотри, мама, вон наш старый пляж, – сказала я, тыча пальцем в окно.

Мама с улыбкой посмотрела в указанном мной направлении.

– Да, правда. – И, повернув ко мне худое лицо, серьезно произнесла: – Я хочу гордиться тобой сегодня. Не молчи, пожалуйста. Только говори то, что следует. И не заводи разговоров о том, что людей лучше сжигать, – они не свиньи, чтобы их поджаривали на огне. Это неприлично.

– Ох, мамочка, – устало проговорила я. Всегда приходится все объяснять. – Пойми, я кое-что соображаю. Мистер Прескотт заслужил человеческое отношение. И даже если никто не скорбит, неужели ты думаешь, что я не смогу вести себя достойно?

Я знала, что последние слова заденут маму.

– Что ты имеешь в виду, говоря, что никто не скорбит? – сердито прошипела она, убедившись, что рядом нет посторонних ушей. – Зачем произносить вслух такие ужасные вещи?

– Ну, мама, – сказала я, – мистер Прескотт на двадцать лет старше миссис Прескотт, и та просто ждала его смерти, чтобы хоть немного развлечься. Просто ждала. Насколько я помню, он был сварливый старик. Никому доброго слова не сказал, да вдобавок эта жуткая кожная болезнь на руках.

– С этим ничего нельзя было поделать, – благочестиво заметила мама. – Бедняга имел право при всех расчесывать руки, ведь он испытывал невыносимый зуд.

– Только вспомни прошлогодний Рождественский сочельник, когда старик приехал на ужин, – упрямо продолжала я. – За столом он так яростно скреб свои руки, что никого не было слышно, а кожа разлеталась хлопьями, как от наждачной бумаги. Разве можно терпеть такое каждый день?

Я ее убедила. Смерть мистера Прескотта ни для кого не стала горем. Это лучшее, что могло случиться.

– Ну, надо радоваться хотя бы тому, что он ушел быстро и безболезненно, – вздохнула мама. – Надеюсь, и я так отойду в свой час.

Через какое-то время улицы неожиданно стали заполняться людьми. Мы подъехали к старой Девоншир-Террас, и мама нажала кнопку звонка. Автобус резко затормозил, и я еле успела ухватиться за неровный хромированный поручень, иначе бы вылетела прямо в лобовое стекло.

– Спасибо, мистер, – проговорила я ледяным голосом и мелкими шажками, осторожно сошла с автобуса.

– И помни, – наставляла меня мама, когда мы шли по тротуару – такому узкому, что, если на пути попадался гидрант, приходилось идти гуськом, – помни, нам нельзя будет уйти, пока в нас будет нужда. Никаких жалоб. Просто мой посуду, или говори с Лиз, или еще что-нибудь делай.

– Но, мама, – недовольно произнесла я, – не стану же я говорить, что сожалею о смерти мистера Прескотта, если это не так? На самом деле я считаю, что это к лучшему.

– Но можешь сказать, что Господь милосерден, послав ему мирную кончину. И это будет чистой правдой.

Я занервничала, только когда мы свернули на ведущую к дому Прескоттов небольшую подъездную аллею, посыпанную гравием. Ведь я не испытывала никаких чувств, ничего похожего на печаль. Над верандой был натянут оранжево-зеленый тент; за десять лет, насколько я помню, он совсем не изменился, только скукожился. И два тополя по обеим сторонам крыльца тоже будто уменьшились, а так – никаких перемен.

Помогая маме взойти на крыльцо по каменным ступеням, я слышала мерное поскрипывание и не сомневалась, что это Бен Прескотт раскачивается в натянутом на веранде гамаке, как делал в любое время года, – однако не сегодня же, когда умер его отец. Он и правда сидел там – долговязый и худой, каким был всегда. Меня особенно удивило то, что в гамаке рядом с ним лежала его любимая гитара. Как если бы он только что закончил наигрывать «Большие Сладкие Горы»¹³ или что-то в этом роде.

– Здравствуй, Бен, – проговорила мама с печалью в голосе. – Мне очень жаль.

Бен выглядел смущенным.

– Да что уж там, – сказал он. – Все сейчас в гостинной.

Слегка улыбнувшись Бену, я проследовала за мамой через входную дверь. Я не знала, уместно ли улыбаться: с одной стороны, Бен славный парень, а с другой – все-таки только что скончался его отец.

Внутри дома было, как обычно, очень темно, хоть глаз выколи, и зеленые шторы на окнах этому способствовали. Все они были опущены. Из-за жары или из-за похорон, но я не могла и слова вымолвить. Мама ощупью добралась до гостинной и раздвинула портьеры.

– Лидия? – позвала она.

– Агнес, ты? – В темноте гостинной послышалось легкое шевеление, и к нам навстречу вышла миссис Прескотт. Так хорошо она никогда не выглядела, и это несмотря на то, что пудру прорезали полосы от слез.

¹³ Знаменитая песня «Big Rock Candy Mountain», написанная Гарри Макклинтоком в 1928 г.

Я стояла и смотрела, как обе женщины обнимаются, целуются и обмениваются тихими изъявлениями сочувствия и признательности. Затем миссис Прескотт повернулась ко мне, подставив щеку для поцелуя. Я постаралась состроить печальную гримасу, что мне не очень удалось, поэтому просто сказала:

– Вы не представляете, как мы удивились, услышав эту печальную весть о мистере Прескотте.

Хотя на самом деле ничего удивительного: старику, чтобы уйти на тот свет, хватило бы и одного сердечного приступа. Но сказать это следовало.

– О да, – вздохнула миссис Прескотт. – Я думала, что этот день наступит не скоро. – И с этими словами она пригласила нас в гостиную.

Привыкнув к тусклому свету, я стала различать лица сидящих людей. Тут была миссис Мейфэр, золовка миссис Прескотт, – женщины толще ее я не видела. Она сидела в углу, у рояля. Находившаяся тут же Лиз только кивнула мне. На ней были шорты и поношенная рубашка, она курила одну сигарету за другой. Для человека, который лишь утром потерял отца, она держалась слишком непринужденно – разве что была бледнее обычного.

Мы все расселись по местам и некоторое время молчали, словно ждали какого-то сигнала – такая тишина бывает перед началом снегопада. Только утопающая в складках жира миссис Мейфэр утирала глаза платком, но я почти не сомневалась, что по ее лицу струится пот, а не слезы.

– Как жаль, – тихо проговорила мама, – как жаль, Лидия, что это случилось именно так. Торопясь к вам, я даже толком не разобрала, кто его нашел.

Мама сделала ударение на слове «его» – как если бы оно писалось с большой буквы, но я подумала, что теперь это безопасно: ведь старый мистер Прескотт никого больше не потревожит ни своим несносным характером, ни шелудивыми руками. Но миссис Прескотт уцепилась за эту ниточку и заговорила.

– О, Агнес, – произнесла она со странно просиявшим лицом, – меня при этом не было. Это Лиз нашла его, бедняжка.

– Да, бедняжка, – захлопала в платок миссис Мейфэр. Ее огромное раскрасневшееся лицо сморщилось и стало похоже на потрескавшийся арбуз. – Он скончался прямо у нее на руках.

Лиз ничего не сказала, только затушила одну сигарету и закурила другую, даже руки не дрогнули. А я, поверьте, внимательно следила за ней.

– Я в это время была у раввина, – продолжала миссис Прескотт. Она постоянно увлекалась то одной, то другой религией. В ее доме всякий раз обедал новый священнослужитель или проповедник. Выходит, теперь чаша весов склонилась к раввину. – Когда папа вернулся после заплыва, я была у раввина, а Лиз дома готовила обед. Ты ведь знаешь, Агнес, он прямо-таки помешан на плавании.

Мама это подтвердила: да, она знает, как любил мистер Прескотт поплавать.

– Было не больше половины двенадцатого, – голос миссис Прескотт звучал так же невозмутимо и спокойно, как у героя сериала «Дрэгнет»¹⁴. – Папа всегда любил окунуться по утрам, даже если вода была ледяная. В этот раз, вернувшись, он вытирался во дворе полотенцем и переговаривался с соседом через изгородь из шток-розы.

– А ведь он только год назад сделал эту изгородь, – перебила ее миссис Мейфэр, словно это была исключительно важная деталь.

– И мистер Гоув, наш милый сосед, вдруг заметил, что с папой что-то происходит: он посинел, перестал отвечать и просто стоял с нелепой улыбкой на лице.

¹⁴ Популярный американский радиосериал 1950-х, его главный герой Джо Фрайдей – мужественный полицейский из Лос-Анджелеса.

Лиз смотрела в окно, за которым по-прежнему слышалось поскрипывание гамака на веранде, и выпускала колечки дыма. Она молчала как рыба. Только пускала кольца.

– Тогда мистер Гоув крикнул Лиз, и та мигом выбежала во двор. Тут папа рухнул на землю, как срубленное дерево, а мистер Гоув бросился в дом за бренди, пока Лиз держала папу.

– А что случилось потом? – сорвалось у меня с языка – так я реагировала в детстве, когда мама рассказывала истории про грабителей.

– А потом, – заключила миссис Прескотт, – он... умер прямо у Лиз на руках. Даже бренди не допил.

– О, Лидия, – воскликнула мама. – Как же тебе досталось!

По миссис Прескотт не было видно, что ей так уж досталось. Тут миссис Мейфэр вновь принялась рыдать, уткнувшись в платок и то и дело взывая к Богу. Мысли ее, очевидно, были заняты покойником, потому что она горячо молилась: «Господи, прости нам грехи наши», – словно сама его прикончила.

– Надо жить дальше, – храбро улыбнулась миссис Прескотт. – Папа хотел бы этого.

– Это самое большее, что мы можем сделать, – вздохнула мама.

– Надеюсь, что у меня будет такая же легкая кончина, – сказала миссис Прескотт.

– Господи, прости нам грехи наши, – опять прорыдала миссис Мейфэр.

Поскрипывание за окном затихло, и в дверях появился Бен Прескотт; моргая за толстыми стеклами очков, он пытался разглядеть нас в темноте.

– Я хочу есть, – заявил он.

– Думаю, нам всем пора что-нибудь съесть, – улыбнулась миссис Прескотт. – Соседи столько всего принесли, что на неделю хватит.

– Индейка и ветчина, суп и салат, – проговорила Лиз скучным голосом, как официантка, зачитывающая меню. – Не представляю, куда это ставить.

– Разреши нам этим заняться, Лидия, – воскликнула мама. – Позволь хоть чем-то помочь. Надеюсь, никаких трудностей не возникнет...

– Конечно, нет, – улыбнулась миссис Прескотт своей лучезарной улыбкой. – Пусть этим займется молодежь.

Мама повернулась, посмотрев на меня со значением, и я подпрыгнула, словно от удара электрическим током.

– Лиз, покажи, где что лежит, – сказала я, – и мы мигом все пристроим.

Бен поплелся за нами на кухню, где стояла старая газовая плита, а раковина была полна грязной посуды. Первым делом я вытащила из мойки большой массивный стакан и налила себе до краев воды.

– Умираю как хочу пить, – сказала я и выпила все залпом.

Лиз и Бен смотрели на меня не отрываясь, словно загипнотизированные. У воды был странный привкус, словно я плохо сполоснула стакан и на дне остались капли крепкого алкоголя.

– Как раз из этого стакана, – проговорила Лиз, затянувшись сигаретой, – последний раз пил папа. Но не бери в голову...

– О боже, простите, – сказала я, поспешно отставив стакан. Представив, как мистер Прескотт делает последний в своей жизни глоток из этого стакана и синееет, я испытала мгновенный приступ дурноты. – Мне правда жаль.

Бен расплылся в улыбке.

– Кому-то все равно пришлось бы из него пить.

Бен мне нравился. Когда хотел, он мог быть практичным.

Лиз ушла наверх переодеться, предварительно показав мне, что приготовить к ужину.

– Не возражаешь, если я принесу гитару? – спросил Бен, когда я нарезала салат.

– Нисколько, – ответила я. – Но что скажут остальные? Гитара хороша на вечеринках.

– Пусть говорят что хотят. А я немного побренчу.

Я ходила по кухне взад-вперед, а Бен преимущественно молчал, просто сидел и тихонько наигрывал песни в стиле кантри, от которых хотелось то смеяться, то плакать.

– Мне кажется, Бен, ты по-настоящему грустишь, – сказала я, нарезая холодную индейку. Привычная широкая улыбка расплылась по лицу Бена.

– Не то чтобы грущу, но мог бы чувствовать себя лучше. Мог бы чувствовать лучше.

Я подумала о маме, и неожиданно печаль, которой я не ощущала весь этот день, нахлынула на меня.

– Мы станем лучше, чем были раньше, – сказала я и повторила слова мамы, хоть и предположить не могла, что это возможно. – Это самое большее, что мы можем сделать. – И подошла к плите, чтобы снять с нее горячий гороховый суп.

– Странно, правда? – сказал Бен. – Кто-то умирает, и кажется, что ты ничего не чувствуешь, но проходит время, и становится ясно, что тебя *что-то* гложет, посмеиваясь потихоньку над твоей самоуверенностью. Вроде я не осознаю, что папа умер. Но он затаился где-то внутри и следит за мной. И ухмыляется.

– А это может быть хорошим опытом, – сказала я и в тот же момент поняла, что так оно и есть. – От такого не убежишь. Это навсегда останется с тобой – куда бы ни уехал. И по-прежнему будет ухмыляться. Так и становишься взрослым.

Бен улыбнулся, а я пошла звать всех к столу.

Трапеза была тихой, на столе было много холодной ветчины и индейки. Говорили о моей работе в страховой компании, и я даже повеселила миссис Мейфэр историями о своем шефе мистере Муррей и его фокусе с сигарой. Миссис Прескотт поведала о вероятной помолвке Лиз, которая не могла жить без своего Барри. О старом мистере Прескотте никто не упоминал.

Миссис Мейфэр жадно проглотила три десерта. И повторяла: «Один ломтик, и достаточно. Только один ломтик», – когда принесли шоколадный торт.

– Бедняжка Генриетта, – сказала миссис Прескотт, глядя, как необъятная золовка поглощает мороженое. – Говорят, это психосоматический голод. Он заставляет много есть.

После кофе – Лиз смолола зерна на мельнице, чтобы аромат лучше чувствовался, – воцарилось неловкое молчание. Мама держала в руках чашку и делала вид, что потягивает кофе, хотя я знала, что там ничего не осталось. Лиз опять закурила и сидела, окутанная табачным облачком. Бен складывал самолетик из бумажной салфетки.

– Ну что ж. – Миссис Прескотт откашлялась. – Пора нам с Генриеттой в похоронное бюро. Пойми, Агнес, я человек современный. Как было сказано, никаких цветов, и приходить тоже не обязательно. Будут лишь несколько деловых партнеров папы.

– Я пойду с вами, – твердо произнесла мама.

– Дети останутся дома, – сказала миссис Прескотт. – Хватит с них.

– Скоро придет Барри, – сообщила Лиз. – Надо помыть посуду.

– Лучше это сделать мне, – вызвалась я, не глядя на маму. – Бен мне поможет.

– Ну, тогда, значит, дело всем нашлось. – Миссис Прескотт помогла подняться из-за стола миссис Мейфэр, а мама тут же подхватила толстуху с другой стороны.

Последнее, что я видела, – это как обе женщины удерживали миссис Мейфэр, которая, пыхтя и отдуваясь, медленно спускалась с крыльца спиной вперед. Только так, по ее словам, она могла сойти с него и не упасть.

Шкатулка желаний

Агнес Хиггинс прекрасно понимала причину блаженного, отсутствующего выражения, не покидавшего лицо ее мужа Гарольда во время завтрака из яичницы и апельсинового сока.

– Ну, расскажи, что приснилось тебе *этой* ночью? – презрительно фыркнула Агнес, с угрожающим видом намазывая на тост столовым ножом джем из морской сливы.

– Я как раз сейчас вспоминал, – сказал Гарольд, глядя в то раннее сентябрьское утро счастливым, затуманившимся взором сквозь соблазнительные и вполне реальные формы своей жены, розовощекой пышноволобой блондинки в пеньюаре с розочками, – рукописи, которые мы обсуждали с Уильямом Блейком.

– Но как ты догадался, что это Уильям Блейк? – Агнес с трудом скрывала раздражение.

Гарольд выглядел удивленным.

– По его рисункам, конечно.

Что могла сказать на это Агнес? Подавив вспыхнувшее недовольство, она молча пила кофе, борясь с неясным ревнивым чувством, которое опутывало ее мрачной зловещей паутиной уже третий месяц, начиная с первой брачной ночи, когда она узнала о снах Гарольда. В ту первую ночь медового месяца, под утро, глубокий, без сновидений сон Агнес был нарушен яростным, судорожным движением правой руки Гарольда. В мгновенном испуге Агнес растолкала мужа и нежно, по-матерински спросила, что случилось, решив, что тот отбивался от кого-то в кошмарном сне. Но дело было в другом.

– Я только-только начал играть «Императорский» концерт¹⁵, – проговорил муж сонным голосом. – Должно быть, поднял руку для первого аккорда, когда ты меня разбудила.

Поначалу живые и яркие сны Гарольда забавляли Агнес. Каждое утро она спрашивала мужа, что ему снилось, и он подробно, во всех деталях пересказывал ей свой сон, словно речь шла о важном, реально имевшем место событии.

– Меня пригласили в Библиотеку Конгресса на встречу с американскими поэтами, – с удовольствием говорил он. – Там были Уильям Карлос Уильямс в отличном пальто из грубой шерсти, и еще тот, кто писал о Нантакете¹⁶, и Робинсон Джефферс, похожий на американского индейца, как на фотографии в антологии, и, наконец, Роберт Фрост – он приехал на седане и сказал что-то остроумное, что меня рассмешило.

Или вот еще:

– Мне приснилась удивительная пустыня, вся красная и лиловая – каждая песчинка в ней сверкала, как рубин или сапфир. Белый леопард в золотых пятнах стоял над ярким голубым ручьем – задние лапы на одном берегу, а передние на другом, – и небольшое семейство муравьев перебиралось через ручей по его спине. Взираясь по хвосту, они ползли дальше и спускались на землю, пройдя у него меж глаз.

Сны Гарольда были настоящими миниатюрными произведениями искусства. Бесспорно, у дипломированного бухгалтера с ярко выраженными литературными предпочтениями (вместо ежедневных газет он читал Гофмана, Кафку и ежемесячные астрологические журналы) было к тому же поразительно живое, красочное воображение. Со временем привычка мужа относиться к своим снам как к неотъемлемой части дневного существования стала раздражать Агнес. Она чувствовала себя лишней. Получалось, что Гарольд проводит треть жизни в окружении знаменитостей или невероятных, мифических существ в зажигательной, дразнящей нервы атмосфере, из которой Агнес навечно изгнана и знает о ней только по слухам.

¹⁵ Пятый концерт Бетховена для фортепьяно с оркестром, написан около 1809 г.

¹⁶ Имеется в виду американский писатель и моряк Герман Мелвилл (1819–1891). Действие его романа «Моби Дик» разворачивается в Атлантическом океане, недалеко от острова Нантакет.

Проходили недели, и Агнес начала задумываться. Хотя она ни в коем случае не собиралась признаваться в этом Гарольду, ее собственные сны, если они и были (а это случалось не так уж часто), пугали ее: как правило, темные, слабо мерцающие пейзажи и зловещие, неясные фигуры. Она не помнила свои кошмары в деталях, они рассеивались при пробуждении, но весь день она остро ощущала удушливую, тяготившую ее, наэлектризованную атмосферу. Агнес стыдилась делиться с Гарольдом этими отрывочными кошмарными видениями из страха, что они будут казаться слишком ущербными на фоне его мощного воображения. Ее редкие сны – их можно было по пальцам пересчитать – представлялись такими прозаичными, такими скучными в сравнении с царственным, барочным великолепием снов Гарольда. Как можно было, например, сказать ему: «Я падала во сне», или «Мама умерла, и мне было очень грустно», или «Что-то преследовало меня, а я не могла бежать»? Истина заключалась в том, с болью осознавала Агнес, что ее сны заставили бы зевать самого усердного и доброжелательного психоаналитика.

Куда делись, размышляла тоскующая Агнес, золотые детские деньки, когда она верила в фей? Тогда, по крайней мере, в ее снах происходили события, и не такие скучные и уродливые. Когда ей пошел седьмой год, с грустью вспоминала она, ей приснилась сказочная страна за облаками, где на деревьях росли шкатулки желаний, похожие на кофемолки, и стоило сорвать такую шкатулку, повернуть девять раз ручку и прошептать в боковое отверстие желание, как оно исполнялось. В другой раз она увидела во сне три волшебные травинки у почтового ящика в конце их улицы: травинки сверкали, как мишура на елке – красная, синяя и серебряная. Еще в одном сне они с младшим братом Майклом стояли в зимних комбинезонах у крытого белой черепицей дома Доди Нельсона. Узловатые корни клена змеей вились по твердой бурой земле; на Агнес были шерстяные варежки в красно-белую полоску, и когда она протягивала сложенную чашечкой руку, в нее падали бирюзово-голубые снежинки. Но это было почти все, что помнила Агнес из своего детства, более творческого, чем ее нынешнее существование. В каком возрасте щедрый волшебный мир снов покинул ее? И за что?

А тем временем из Гарольда сны лились, как из рога изобилия, и он пересказывал их ей за завтраком. Однажды, еще до встречи с Агнес, в гнетущие, скверные времена его жизни, Гарольду приснилось, что по кухне бежит обожженная рыжая лиса: шерсть ее обуглилась дочерна, несколько ран кровоточили. Позже Гарольд рассказывал по секрету, что в более благоприятное время, вскоре после женитьбы, рыжая лиса вновь ему привиделась: чудесно исцеленная, с роскошным мехом, она преподнесла ему флакон черных чернил «Квинк». Сны про лису Гарольд особенно любил, и они часто повторялись. Как и сон про гигантскую щуку.

– Был такой пруд, – изрек Гарольд в одно душное августовское утро, – в котором мы с кузенком Альбертом обычно ловили рыбу, в нем водилось полно щук. Прошлой ночью я тоже там рыбачил, и мне попала на крючок огромнейшая щука – такую и представить себе невозможно. Должно быть, этот экземпляр был прапрапрадедушкой всех остальных. Я тянул, и тянул, и тянул эту щуку, но ей конца не было.

– А мне в детстве, – вступила Агнес, с мрачным видом размешивая сахар в черном кофе, – приснился Супермен – такой, как в цветном кино. Костюм синий, накидка красная, волосы черные – он был красив, как принц; мы летали с ним, и я чувствовала, как ветер свистит в ушах, а на глазах выступают слезы. Мы летели над Алабамой. Я знала, что это Алабама, потому что земля выглядела как карта, и на ней, прямо поверх больших зеленых гор, было написано: «Алабама».

На Гарольда рассказ произвел большое впечатление.

– А что тебе снилось этой ночью? – спросил он. В его тоне слышалось чуть ли не раскаяние: сказать по правде, собственные сны настолько его занимали, что он не мог представить себя в роли слушателя и никогда не расспрашивал жену о том, что снится ей. Теперь Гарольд

смотрел на хорошенькое взволнованное личико с новым интересом: после медового месяца он впервые осознал, какая отрада для глаз это прелестное существо напротив за столом.

На мгновение Агнес привел в замешательство заданный из лучших побуждений вопрос мужа: она давно оставила позади то время, когда серьезно задумывалась, не спрятать ли в шкафу книгу Фрейда, чтобы укреплять свои позиции чужими снами и тем самым каждое утро подогревать интерес мужа к себе. И теперь, отказавшись от прежней сдержанности, она приняла отчаянное решение признаться в своей ущербности.

– Мне ничего не снится, – произнесла Агнес тихим, печальным голосом. – Больше не снится.

Гарольда это известие явно озадачило.

– Возможно, – попробовал он утешить жену, – ты просто не используешь воображение в полную силу. Надо практиковаться. А ну-ка, закрой глаза.

Агнес послушно закрыла глаза.

– Ну, и что ты сейчас видишь? – с надеждой спросил Гарольд.

Агнес охватил ужас. Она ничего не видела.

– Ничего, – произнесла она дрожащим голосом. – Просто какой-то туман.

– Не волнуйся, – оживленно заговорил Гарольд, непроизвольно принимая тон врача, имеющего дело хоть и с неприятной, но не смертельной болезнью, – представь себе кубок.

– Какой именно кубок? – взмолилась Агнес.

– Какой хочешь, – сказал Гарольд. – Ты должна описать его мне.

Не открывая глаз, Агнес медленно пробивалась в глубины собственного сознания. С величайшим трудом ей удалось воссоздать слабо мерцающий серебряный кубок, парящий где-то в таинственной пучине разума: он дрожал, готовый вот-вот угаснуть, словно пламя свечи.

– Он серебряный, – ответила она почти вызывающе. – У него две ручки.

– Прекрасно. А теперь посмотри, какая на нем гравировка.

На пределе сил Агнес представила себе слабо начертанного на серебре северного оленя, увитого виноградными листьями.

– Какого цвета изображение? – продолжал спрашивать Гарольд, не знавший, как казалось Агнес, чувства жалости.

– Зеленого, – солгала Агнес, поспешно раскрасив виноградные листья. – Листья зеленые. А небо черное. – Она испытала нечто сродни гордости за свою находчивость. – А шерсть оленя красновато-коричневая с белыми вкраплениями.

– Хорошо. А теперь наведи на кубок глянec.

Агнес постаралась сделать и это, чувствуя себя обманщицей.

– Эта картина у меня в затылке, – с сомнением сказала она, открывая глаза. – Я все вижу где-то в глубине головы. У тебя тоже так?

– Нет, – удивился Гарольд. – Мои сны возникают за самыми веками, как на киноэкране. Просто появляются, и все. Мне ничего не надо делать. Вот как сейчас. – И он закрыл глаза. – Я вижу сверкающие короны, они свисают с ивы и раскачиваются туда-сюда.

Агнес с суровым видом молчала.

– У тебя все получится, – Гарольд пытался шутливо приободрить жену. – Старайся каждый день воображать себе разные вещи, как я учил.

Агнес не стала развивать эту тему. Пока Гарольд находился на работе, она взяла за правило много читать: при чтении перед ее глазами возникали картины. Охваченная приступом неуправляемой истерии, она глотала романы, женские журналы, газеты и даже анекдоты из книги «Радости кулинарии»; читала путеводители, рекламу бытовой техники, каталоги «Сирс», инструкции к генераторам мыльных пузырей, аннотации на конвертах от пластинок – все, что помогало не думать о зияющей пустоте в голове, которую Гарольд заставил ее болез-

ненно осознать. Но стоило ей оторвать глаза от печатных изданий, как эта защита переставала существовать.

В высшей степени самодостаточная и неизменная реальность окружающих вещей приводила Агнес в уныние. С завистливым восхищением ее испуганный, почти остановившийся взгляд устремлялся на восточный ковер, голубые обои фирмы «Уильямсберг», позолоченных драконов на китайской вазе с каминной полки и расписные медальоны на обитом тканью диване, на котором она сидела. Агнес задыхалась, эти вещи вызывали у нее приступ удушья: ведь их прочное, прагматичное существование угрожало глубоким потаенным корням ее эфемерной природы. Она прекрасно понимала, что Гарольд никогда бы не смирился с вздорным тщеславием столов и стульев; если б ему что-то не понравилось или наскучило, он все изменил бы, включив фантазию. Ах, горевала Агнес, если бы в сладостной галлюцинации к ней по полу приполз осьминог с фиолетово-оранжевым рисунком на щупальцах, она возблагодарила бы судьбу. Пусть что угодно – только бы доказать, что воображение не безвозвратно ее покинуло, что глаза не просто фиксируют окружающую действительность, а способны ее преобразовать. «Роза, – монотонно, как на панихиде, повторяла она, – это роза, это роза...»¹⁷

Однажды утром, читая роман, Агнес вдруг с ужасом осознала, что из пяти просмотренных страниц в ее памяти не удержалось ни слова. Она вернулась назад, но буквы расползались по листу, скручиваясь злорадными черными змейками, и слагались в шипящий, непереводаемый жаргон. Именно после этого Агнес стала каждый день ходить в кинотеатр за углом. Она могла по несколько раз смотреть один и тот же фильм, ей было все равно: подвижный калейдоскоп, мелькающий перед глазами, убаюкивал ее и погружал в транс, голоса сливались в один успокаивающий, неясный код, изгоняющий мертвое молчание из головы. В конце концов угорами и лестью она убедила Гарольда купить в рассрочку телевизор. Это оказалось лучше, чем кино: теперь она могла целыми днями смотреть передачи и пить херес. Встречая вечером Гарольда после работы, Агнес со злорадным удовлетворением отмечала, что лицо мужа расплывается перед ее глазами и ей удастся по своему желанию менять его черты. Иногда она придавала его коже зеленый цвет, иногда бледно-лиловый, лавандовый, иногда приставляла ему греческий нос, иногда – клюв орла.

– Но мне *нравится* херес, – упрямо заявила она Гарольду, когда ее тайное пьянство стало очевидным даже его любящему взору и он попросил жену меньше пить. – Он меня расслабляет.

Однако херес не настолько расслаблял Агнес, чтобы она могла заснуть. Когда навеванный алкоголем призрачный туман улетучивался, она, мучаясь похмельем, неподвижно лежала в постели и нервно, словно когтями, скручивала пальцами простыни. Гарольд же давно ровно и мирно дышал рядом, переживая во сне свои удивительные приключения. Так ночь за ночью Агнес не смыкала глаз, охваченная ледяной паникой. Хуже того, теперь она была в постоянном напряжении. Наконец ей внезапно открылась жестокая истина: завеса сна, восстанавливающая силы тьма забвения, отделяющая один день от другого – прошлого и будущего, – навечно и безвозвратно сгинула для нее. Перед ней предстала раскинувшаяся впереди нестерпимая череда бессонных, лишенных сновидений дней и ночей; ее сознание обречено на полную пустоту, где нет надежды на рождение какого-нибудь образа, который смог бы справиться с сокрушительной атакой напыщенных, самодовольных столов и стульев. В таком состоянии, с отвращением думала Агнес, она может прожить сто лет – в ее семье женщины живут долго.

Семейный врач Хиггинсов, доктор Маркус, выслушав жалобы Агнес на плохой сон, утешил ее в своей обычной бодрой манере:

– Это всего лишь небольшой нервный сбой, ничего страшного. Принимайте перед сном вот это лекарство – по одной пилюле, и будете спать как сурок.

¹⁷ Одна из самых знаменитых цитат американской писательницы Гертруды Стайн (1874–1946).

Агнес не спросила, будет ли она в этом случае видеть сны, просто положила в сумку коробочку с пилюлями и поехала на автобусе домой.

Через два дня, в последнюю пятницу сентября, вернувшись домой с работы, Гарольд (всю часовую поездку в поезде он, закрыв глаза, делал вид, что спит, а на самом деле плыл на вишневом паруснике дхау¹⁸ вверх по светящейся реке, в кристально чистой воде которой, в тени мавританских башен из разноцветного стекла, плескались большие белые слоны) нашел Агнес лежащей на диване в гостиной. На жене было ее любимое вечернее изумрудное платье из тафты в стиле «принцесса», она казалась прекрасной, как сорванная ветром лилия; глаза ее были закрыты, а на ковре рядом валялись пустая коробочка от пилюль и опрокинутый стакан. На спокойном лице застыла легкая, загадочная, торжествующая улыбка, как будто в далекой, недоступной для смертных стране она наконец танцевала вальс с темным принцем в красной накидке из снов своей молодости.

¹⁸ Арабское двухмачтовое судно.

Сравнение

Как я завидую писателям-романистам!

Я представляю себе его – или лучше сказать ее, потому что именно женщин я ищу для сравнения, – так вот, я представляю себе ее: она обрезает большими ножницами кусты роз, поправляет очки, расставляет на столе чашки, что-то напевает, опустошает пепельницы, возится с детьми, ловит косою луч света и проблеск хорошей погоды, проникает с помощью скупого и одновременно превосходного рентгеновского зрения в психику соседей – соседей по поезду, или в очереди к дантисту, или в чайной на углу. Для этой счастливицы все подойдет! Сгодятся старые туфли, дверные ручки, фланелевые ночные рубашки, соборы, лак для ногтей, реактивные самолеты, беседки из роз и волнистые попугайчики; немного манерности – посаживание зуба, одергивание подола платья, да что угодно, любые странные, грубые, красивые и жалкие вещи. Не говоря уже об эмоциях, мотивациях – всех этих мощных, разрушительных состояниях. Она имеет дело со временем: оно рвется вперед или откатывается назад, расцветает, угасает, саморазоблачает. Она имеет дело с людьми во времени. И, на мой взгляд, время полностью в ее распоряжении. Она может, если захочет, растянуть действие на столетие, на жизнь одного поколения или на одно лето.

А у меня в распоряжении – минута.

Я не говорю об эпических поэмах. Мы все знаем, какими длинными они могут быть. Я говорю о маленьких, кулуарных, обыкновенных стихотворениях.

Как мне их описать? Дверь открывается, дверь закрывается. В промежутке вы видите мимолетную картину: сад, человека, бурю, стрекозу, сердце, город. Мне вспоминаются круглые стеклянные викторианские пресс-папье, которых, насколько я помню, теперь не найти, – ничего общего с пластмассовой продукцией, наводнившей прилавки магазинов Вулворта¹⁹. Прежнее пресс-папье – прозрачный шар, почти совершенный, чистый, с лесом, или деревней, или семейной группой внутри. Переворачиваешь его вверх-вниз – в нем идет снег. Все мгновенно меняется. В нем никогда не появятся прежние картины – ни ели, ни фронтоны, ни лица.

Так возникает стихотворение. Оно занимает так мало места! И времени тоже! Поэт умеет прекрасно упаковывать чемоданы:

Внезапно появление в толпе этих лиц;
Лепестки на черной от влаги ветке²⁰.

Вот оно – начало и конец на одном выдохе. Разве такое доступно романисту? В абзаце? В странице? Может, развести водой, как краску, разжижить, рассредоточить?

Так я становлюсь самодовольной, нахожу у поэтов преимущества.

Если стихотворение – это плотно сжатый кулак, то роман – ладонь, раскрытая и расслабленная: у него есть дороги, объезды и пункты назначения; есть любовная линия, есть интеллектуальная; в него входят также нравы и деньги. Там, где кулак не мешкает и оглушает ударом, открытая ладонь может нащупать и многое вместить в себя в этом путешествии.

В моем стихотворении никогда не будет зубной щетки. Меня не интересуют вещи обычные, полезные и нужные. Я никогда не вставляю их в стихотворение. Однажды, правда, упомянула тисовое дерево. И оно с поразительным эгоизмом завладело всем стихотворением. Это не был тис у церкви при дороге, проходящей мимо дома в городе, где жила некая женщина... и так далее, как было бы в романе. Вовсе нет. Он прочно воцарился в центре стихотворения, управ-

¹⁹ Фрэнк Вулворт (1852–1919) – американский предприниматель, основавший в начале XX века крупную розничную сеть.

²⁰ Стихотворение «На станции метро» Эзры Паунда, американского поэта и переводчика (1885–1972).

ляя призрачными тенями, голосами в церковном саду, облаками, птицами, нежной меланхолией, в которой я его задумывала, – всем! Я не могла с ним справиться. И в конце концов стихотворение стало о тисе. Этот тис был слишком горд, чтобы бледной тенью мелькнуть в романе.

Возможно, я рассержу некоторых поэтов предположением о надменности стихотворения. Они возразят, что стихотворение тоже может вмещать все. И даже с большей точностью и мощностью, чем мешковатые, растрепанные и расплывчатые произведения, именуемые романами. Я признаю за этими поэтами право писать об экскаваторах и старых брюках. Стихи не обязаны быть слишком целомудренными. Даже против зубной щетки не возражаю, если в результате появится прекрасное стихотворение. Но такие случаи, как поэтическая зубная щетка, редки. И когда они появляются, то склонны, как мой неумный тис, выпячиваться и выступать на передний план.

В романах все не так. Там зубная щетка с замечательной быстротой возвращается в свой стаканчик, и о ней забывают. Время течет, завихряется, извивается, и у людей есть возможность расти и меняться на наших глазах. Весь великолепный жизненный хлам крутится вокруг: комоды, наперстки, кошки, столь любимый и до дыр зачитанный каталог всякой всячины, с содержанием которого романисты хотят нас познакомить. Я не хочу сказать, что у них нет системы, пронизательности, упорядоченности. Только предполагаю, что форма не так довлеет над ними, как над поэтами.

Дверь романа, как и дверь стихотворения, тоже закрывается. Но не так быстро, не так болезненно, не с такой неоспоримой законченностью.

Пятнадцатидолларовый орел

На Мадиган-сквер есть несколько тату-салонов, но ни один из них не идет ни в какое сравнение с заведением Карми. Вот кто настоящий художник иглы и краски, подлинный артист своего дела. Подростки, портовые бомжи, проживающие за городом супружеские пары, приезжающие попить пивка, – все до одного останавливаются и прилипают к витрине Карми. У всех есть мечта, говорит Карми, на сердце роза, на мускулах орел, в душе – Иисус сладчайший, так что приходите ко мне. В этой жизни можете носить сердце на коже – я тот человек, который может это сделать. Для любителей животных – собаки, волки, лошади и львы. Для дам – бабочки, райские птички, улыбающиеся или плачущие детские личики, – делайте свой выбор. Есть самые разные розы: крупные, небольшие, в бутонах и распустившиеся, розы с именем, розы с шипами, розы с головками дрезденских кукол, пронзенных по центру стрелами, с розовыми лепестками, зелеными листьями, красиво выделенными черной обводкой. Змеи и драконы для Франкенштейна. Не говоря уже о девушках-ковбоях, гавайских танцовщицах, русалках и кинозвездах с розовыми сосками или, если хотите, совсем голых. Если желаете рисунок на спине, могу предложить Христа на кресте, с ворами по обе стороны и ангелами сверху, растянувшими слева направо свиток с надписью «Гора Голгофа» рукописным староанглийским шрифтом, схожим с позолотой, как схож с ней желтый цвет.

Снаружи люди тычут пальцами в цветные картинки, нанесенные на штукатурку от пола до потолка. Они дружно делятся впечатлениями, и кое-что доносится сквозь стекло:

– Дорогой, только взгляни на этих павлинов!

– Безумие тратить деньги на татуировки. Я заплатил только за одну – пантеру на плече.

– Хочешь сердце? Я скажу ему, куда нанести.

Впервые я увидела Карми за работой благодаря моему давнему другу Неду Бину. Привалившись к стене с сердечками и цветами в ожидании клиентов, Карми проводил время в обществе мистера Томолилло, плюгавого человечка в шерстяной куртке, накинутой на несуществующие плечи и не способной ни украсить, ни слегка подкорректировать его фигуру. Куртка вся в коричневых квадратах, каждый размером с сигаретную пачку и дерзко обведен черным. На ней вполне можно играть в крестики-нолики. Коричневая фетровая шляпа надвинута до бровей, вроде как шляпка у гриба. Узкое, треугольное, сосредоточенное лицо самца богамола. Когда Нед представляет меня, мистер Томолилло сгибается в поклоне таком же четком, как ниточка усов над его верхней губой. Его поклон восхищает меня: ведь в салоне настолько тесно, что никто из нас четверых при малейшем движении не может не задеть других плечом или коленом.

В салоне пахнет порохом и каким-то антисептиком. Вдоль задней стены слева направо располагаются: рабочий стол Карми, электрические иглы, прикрепленные к вращающейся стойке с красками, крутящееся кресло хозяина напротив окна, стул с прямой спинкой для клиентов, пустое ведро и оранжевый деревянный ящик, на котором валяются обрывки бумаги и огрызки карандашей. Перед салоном, рядом со стеклянной дверью, стоит еще один стул, к спинке которого прислонен большой плакат с изображением Голгофы, рядом на обшарпанном деревянном столе – картонный картотечный ящик. Над креслом Карми, на стене, среди младенцев и маргариток, висят два выцветших фотопортрета молодого человека: на одном его торс спереди, на другом – сзади. Издали кажется, что на юноше рубашка с длинным рукавом – приоткрытая, из черного кружева. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что на юноше ничего нет: это татуировки ползучим плющом покрывают его тело.

На пожелтевшей вырезке из какого-то старого журнала изображены восточные мужчины и женщины: они сидят на подушках с бахромой, скрестив ноги, спиной к фотоаппарату, на их одеждах вышиты семиглавые драконы, горные цепи, вишневые деревья и водопады. Но

реклама уверяет: «На этих людях нет никакой одежды. Татуировки – необходимый знак принадлежности к их сообществу. Такая работа стоит не меньше трехсот долларов». Рядом с вырезкой – фотография лысого человека, череп которого сзади обвивают щупальца спрута.

– Думаю, их кожа стоит дороже рисунков, – говорит мистер Томолилло. – Особенно если натянуть ее на доску.

Но ни татуированный юноша, ни группа восточных людей не идут ни в какое сравнение с Карми, который сам – живая реклама своего мастерства: на правом бицепсе – шхуна под парусом в океане из листьев розы и падуба, на левом – Джипси Роуз Ли²¹, изгибающая стан в танце живота; на предплечьях теснятся сердца, звезды и якоря, счастливые номера и имена, лилейники – все это смешивается, расплывается и выглядит как забытый под дождем комикс. По слухам, у Карми, фаната Дикого Запада, от пупка до ключицы наколот вставший на дыбы дикий мустанг с прильнувшим к его спине упрямым, как черт, ковбоем. Однако это может быть и легендой из-за привычки хозяина салона носить ковбойские сапоги из тисненой кожи на высоких каблуках и ремень Билла Хиккока²², отделанный красными камешками, который он надевает с черными брюками чинос. У Карми голубые глаза. Их синева несколько не уступает той, которая воспевается в песнях о тexasском небе.

– Я занимаюсь этим шестнадцать лет, – говорит Карми, прислоняясь к расписной стене, – и, уверяю вас, учусь до сих пор. Первое тату я сделал в Мэне во время войны. Прослышав, что я в этом деле специалист, меня пригласили в Женский армейский корпус...

– Сделать им татуировки? – удивилась я.

– Наколоть номера – только и всего.

– Наверное, некоторые испугались?

– Конечно, не без этого. Но кое-кто пришел снова. Однажды сразу две женщины из этого корпуса заявили в один и тот же день, чтобы сделать тату. Они бормотали что-то невнятное, запинаясь. «Послушайте, – сказал я им. – Лучше приходите в другой раз, когда будете знать, чего хотите. Какие проблемы?» – «Не то чтобы мы не знали, чего хотим, – пропищала одна. – Просто не решили, куда наносить». – «Ну, если проблема в этом, – говорю, – доверьтесь мне. Я все равно что доктор. Через меня прошло столько женщин, что проблем не будет». – «Я хотела бы три розы, – продолжила тогда она. – Одну на животе и по одной на каждой ягодице». Тогда и вторая набралась смелости: вы знаете, как это бывает, и попросила, чтобы я нарисовал ей розу на...

– Большие или маленькие розы? – Мистер Томолилло не хочет упустить ни одной детали.

– Примерно такие, – Карми показывает на картинку с розами, где каждый бутон размером с брюссельскую капусту. – Крупные. Ну, я выполнил заказ и говорю им: «Дам вам скидку по десять долларов, если вернетесь и покажете мне, как у вас зажило».

– Ну и как, пришли? – хочет знать Нед.

– Конечно, пришли. – Карми выпускает кольцо дыма, оно колыхнется в воздухе в тридцати сантиметрах от его носа – голубоватое, туманное очертание розы. – Хотите знать, какой бредовый закон у нас существует? – продолжает он. – Я могу покрыть всего человека татуировками. – Он внимательно осматривает меня с ног до головы. – Спину. Зад. – Карми смыкает веки; можно подумать, что он молится. – Грудь. Все что угодно, кроме лица, кистей и стоп.

– Это написано в *федеральном* законе? – спрашивает мистер Томолилло.

Карми кивает.

– Да, в федеральном законе. В салоне есть шторы, – он тычет пальцем в пыльные жалюзи на витрине. – Опущу их, и могу обрабатывать любую часть тела. Кроме лица, кистей и стоп.

– Это, наверно, потому, что они *видны*, – вставляю я.

²¹ Джипси Роуз Ли (1911–1970) – американская актриса и писательница.

²² Билл Хикок (1837–1876) – американский герой Дикого Запада.

– Точно. Возьмите армию, строевую подготовку. Ребята с татуировками не выглядят как положено. Их лица и руки будут бросаться в глаза, они не смогут спрятаться.

– И все же, – возражает мистер Томолилло, – это ущемляет права человека. Полагаю, закон тоталитаристский. В демократической стране каждый может украшать себя как ему угодно. Я хочу сказать, если дама решила нанести розу на тыльную сторону ладони, то...

– ...это ее право, – раздраженно заканчивает Карми. – Люди должны получать что хотят, несмотря ни на что. Ко мне на днях приходила одна маленькая дама. – Карми приподнял ладонь на полтора метра от пола: – Вот такая. Захотела иметь на спине всю Голгофу, и я ей это сделал. Работа заняла восемнадцать часов.

Я с сомнением взираю на воров и ангелов на картине:

– Неужели вы несколько не сократили сюжет?

– Нет.

– Ни одного ангела не убрал? – удивляется Нед. – И передний план не сократил?

– Говорю тебе, ничего. Тридцать пять долларов за работу в цвете – с ворами, ангелами и надписью на староанглийском. Она вышла из салона гордая, как лебедь. Не у каждой коротышки на спине вся Голгофа в полном цвете. Я могу сделать тату по фотографии. Могу перенести на кожу точную копию кинозвезды. Все, что захотят клиенты. У меня есть некоторые рисунки, которые я не вешаю на стену, чтобы не оскорбить чьи-то чувства. Сейчас покажу. – Карми берет картотеку со стола. – Надо жене навести тут порядок, – говорит он, – все ужасно запущенно.

– Ваша жена вам помогает? – спрашиваю я с интересом.

– А, Лора... Она в салоне почти весь день. – По непонятной причине голос Карми начинает звучать торжественно, как у монаха на воскресной службе.

А что, если он использует жену как рекламу? Лора, Татуированная Дама, живой шедевр, шестнадцать лет в деле. Леди и джентльмены, на ней ни одного белого местечка. Смотрите, и вы захотите того же.

– Заглядывайте почаще, – говорит он нам, – она любит компанию.

Карми роется в ящиках картотеки, но ничего из них не достает... Потом вдруг прекращает поиски и застывает, как пойнтер в стойке.

В дверях стоит крепкий парень.

– Чем могу быть полезен? – Карми делает шаг вперед, показывая, кто тут хозяин.

– Я хочу наколоть орла.

Нед, мистер Томолилло и я прижимаемся к боковым стенам, чтобы пропустить парня в середину салона. Даже без формы – бушлата и клетчатой шерстяной рубашки – видно, что он моряк. Его ромбовидная голова с широкой частью между ушами сужалась кверху, где находился островок коротко стриженных волос.

– За девять долларов или за пятнадцать?

– За пятнадцать.

Мистер Томолилло восхищенно вздыхает.

Моряк садится на стул напротив вращающегося кресла Карми, ловким движением плеч стряхивает бушлат, расстегивает левый манжет рубашки и медленно закатывает рукав.

– Вам стоит подойти ближе, – говорит мне Карми тихим, многообещающим голосом. – Отсюда лучше видно. Вы ведь раньше не видели, как наносят татуировки. – Стараясь ужаться и стать меньше, я сажусь на ящик с бумагами слева от Карми в углу, как наседка на яйца.

Карми вновь роется в картотеке и на этот раз извлекает оттуда квадратный кусок пластика:

– Вот этот?

Моряк смотрит на орла, наколотого на пластике, и возвращает его со словами:

– Да, этот.

– Ммм, – одобрительно мычит Томолилло, уважая выбор моряка.

– Великолепный орел, – подтверждает Нед.

Моряк горделиво выпрямляет спину.

Карми суетится вокруг клиента, кладет ему на колени запачканную мешковину, раскладывает на рабочем столе губку, бритву, разные баночки с грязными наклейками и миску с антисептиком, делая все основательно, как жрец, натачивающий мачете перед принесением в жертву откормленного теленка. Все должно быть в порядке. Наконец Карми садится. Моряк протягивает через стол правую руку. Нед и мистер Томолилло стоят позади его стула: Нед заглядывает за правое плечо моряка, мистер Томолилло – за левое. Мне все отлично видно из-за локтя хозяина.

Быстрым и точным движением бритвы Карми удаляет с предплечья молодого человека черную поросль волос и смахивает ее большим пальцем на пол. Затем смазывает открывшуюся кожу вазелином из маленькой баночки на столе.

– Тебе раньше делали тату?

– Да. – Моряк не болтлив. – Один раз. – Его глаза вновь закрываются, будто только так он может видеть что-то позади Карми, за стенами, в разреженном воздухе, далеко от нас четверых.

Карми сыплет черный порошок на поверхность пластикового квадрата, затем втирает его в проколотые дырки. Проступают темные очертания орла. Резким движением он переворачивает пластик и плотно прижимает его к смазанному вазелином плечу моряка. Когда он легко, как кожуру с лука, снимает пластик, на коже остается контур орла – разметанные крылья, крючковатые, нацеленные на жертву когти, мрачный, хмурый взгляд.

– Ах! – Мистер Томолилло поворачивается на пробковых каблуках и со значением смотрит на Неда.

Нед одобрительно приподнимает брови. Моряк позволяет себе слегка скривить губу. Для него это равносильно улыбке.

– А теперь я покажу вам, – Карми жестом фокусника берет одну из электрических игл, – как можно девятидолларового орла превратить в пятнадцатидолларового. – Карми нажимает кнопку на игле, но ничего не происходит. – Ну, – вздыхает он, – не работает.

– Опять? – стонет мистер Томолилло.

Тут Карми вдруг осеняет, и он со смехом щелкает выключателем на стене. Теперь при нажатии игла жужжит и искрится.

– Не было соединения – вот в чем дело.

– Слава богу! – говорит мистер Томолилло.

Карми заполняет иглу черной краской со стойки.

– Такой же орел за девять долларов, – он подносит иглу к кончику правого крыла, – расписывается только черным и красным. А за пятнадцать долларов можно любоваться сочетанием четырех цветов. – Игла скользит вдоль линий, оставленных порошком. – Черным, зеленым, коричневым и красным. У нас закончился синий, а то было бы пять цветов. – Игла дрожит и издает шум, как пневматическая дрель, но рука Карми тверда, словно рука хирурга. – Как же мне нравятся орлы!

– Полагаю, это орлы дядюшки Сэма, – замечает мистер Томолилло.

Черная краска стекает с руки моряка и капает на жесткую мешковину на его коленях, заляпанную, как фартук мясника, а игла продолжает движение, раскрашивая перья от основания до кончика крыла. В перьях пробиваются яркие красные капли – это кровь пузырится на черном фоне.

– Люди жалуются, – нараспев произносит Карми. – Каждую неделю я слышу одни и те же жалобы. Есть что-нибудь новенькое? Мы не хотим только одного орла – черного с красным. Поэтому я создал новое сочетание. Сами увидите. Роскошный цветной орел.

Орел теряется в разлившихся грозовой тучей черных чернилах. Карми останавливается, полощет в антисептике иглу – со дна чаши на поверхность брызжет светлый фонтанчик. Затем он окунает в чашу круглую светло-коричневую губку и стирает краску с плеча моряка.

Из-под покрова окровавленных чернил проступает орел – рельефный контур на влажной коже.

– Ну, теперь смотрите. – Карми вращает стойку, пока не доходит до зеленых чернил, и берет новую иглу с подставки.

Теперь внутренний взор моряка уносится еще дальше – в Тибет, Уганду или на Барбадос, за океаны и континенты, подальше от капель крови в широких зеленых полосах, которыми Карми расписывает крылья орла.

Примерно в это время у меня появляется странное ощущение. От плеча моряка исходит сильный сладкий запах. Я отвожу глаза от красновато-зеленой смеси и упираюсь взглядом в корзину слева от меня. Там мирный мусор – цветные конфетные фантики, сигаретные окурки, грязные скомканные салфетки «Клинекс», но тут Карми бросает поверх всего этого окровавленный кусок ткани. За силуэтами голов Неда и мистера Томолилло дрожат и подмигивают пантеры, розы и дамы с розовыми сосками. Если я упаду вперед или направо, то толкну Карми, он поранит моряка, иглолка сорвется, и великолепный пятнадцатидолларовый орел будет испорчен. Не говоря уже о том, что я сама опозорюсь. Единственное, что остается, – свалиться в корзину с окровавленными салфетками.

– Теперь перехожу к коричневому цвету, – слышится откуда-то издалека голос Карми, и мой взгляд вновь останавливается на окровавленной руке моряка. – Когда рана заживет, цвета будут переходить друг в друга, сливаться, как на картинке.

Лицо Неда – клякса из туши на лоскутном одеяле всех цветов радуги.

– Я пойду... – Губы мои шевелятся, но слов не слышно.

Нед направляется ко мне, но тут комната исчезает, словно ее выключили.

Дальше я смотрю на салон Карми с облака всевидящими глазами ангела и слышу тихое жужжание пчелы, плюющей голубым огнем.

– На нее так подействовала кровь? – Голос Карми звучит откуда-то издалека.

– Она вся белая, – говорит мистер Томолилло. – И взгляд странный.

Карми что-то передает мистеру Томолилло.

– Дай ей понюхать. – Мистер Томолилло вручает это Неду. – Только недолго.

Нед подносит это к моему носу. Я нюхаю и оказываюсь сидящей на стуле перед салоном, опираясь на «Голгофу». Вдыхаю это снова. Никто на меня не сердится – значит, я не толкнула Карми и не задела иглу. Нед закручивает крышку на бутылочке с желтой жидкостью. Нюхательная соль «Ярдли».

– Можете вернуться на место? – мистер Томолилло любезно указывает на пустующий оранжевый ящик.

– Вроде могу. – У меня сильное желание потянуть время. Я шепчу мистеру Томолилло на ухо, которое из-за его маленького роста оказывается рядом со мной: – А у вас есть татуировки?

Я вижу, как под грибообразной шляпой округляются и обращаются к небу его глаза.

– Бог мой! Конечно нет! Я здесь, чтобы следить за пружинами. В аппарате мистера Кармайкла они иногда отказывают при работе с клиентом.

– Какая жалость!

– Сейчас я здесь именно по этой причине. Мы проверяем новую пружину – более надежную. Сами знаете, как неприятно, когда вы, например, сидите в кресле дантиста и внутри вашего рта чего только нет...

– Ватные тампоны и маленькие металлические сифоны?..

– Вот именно. И вдруг неожиданно дантист оставляет вас, – тут мистер Томолилло для пущей наглядности слегка отворачивается от меня с таинственной, озабоченной гримасой на

лице, – и минут десять возится в углу со своим оборудованием, а вы не знаете, в чем дело. – Лицо мистера Томолилло принимает прежнее выражение, разглаживаясь, как полотно под утюгом. – Поэтому я и нахожусь здесь, чтобы следить за пружиной – насколько она крепкая. Для удобства клиента.

К этому времени я чувствую, что готова занять почетное место на оранжевом ящике. Карми только что закончил работать с коричневым цветом, и за время моего отсутствия разные чернила действительно смешались друг с другом. На бритой коже измученный орел напрягся в трехцветной ярости, его загнутые когти кажутся острыми, как крюки мясника.

– Может, стоит добавить немного красного в глаза?

Моряк кивает, и Карми снимает крышку с тюбика – в нем краска цвета кетчупа. Как только Карми перестает работать иглой, на коже моряка проступают кровавые пузырьки – теперь не только с черного очертания птицы, но и со всего разноцветного тела.

– С красным стало лучше, – заявляет Карми.

– Ты сохраняешь кровь? – неожиданно спрашивает мистер Томолилло.

– Думаю, – говорит Нед, – тебе есть смысл вступить в переговоры с Красным Крестом.

– Можно и с банком крови! – Нюхательная соль прочистила мне мозги, и голова стала такая ясная, как небо над Монадноком. – Просто поставьте на пол тазик, и пусть кровь туда капает.

Карми работает над оттенками красного.

– Мы, вампиры, никогда не делимся кровью. – Глаз орла краснеет, но кровь больше не проступает. – Разве вы об этом не слышали?

– Слышали, – признает мистер Томолилло.

Карми раскрашивает фон красным цветом, и вот готовый орел уже парит в красном небе, рожденный и крещенный хозяйской кровью.

Моряк тем временем возвращается из дальних краев.

– Ну как? Хорош? – Карми губкой смывает с орла кровь, и цвета начинают играть – так уличный художник сдувает пыль с рисунков Белого дома, Лиз Тейлор или «Лесси возвращается домой»²³.

– Я всегда говорю, – моряк не обращается ни к кому конкретно, – если хочешь тату, то делай самое лучшее. Только лучшее. – Он вглядывается в орла, который, несмотря на все усилия Карми, снова кровоточит.

Следует напряженная пауза. Карми весь в ожидании, и это не из-за денег.

– Сколько будет стоить, если написать под ним «Япония»?

По лицу Карми расплывается улыбка.

– Один доллар.

– Тогда напишите «Япония».

Карми намечает буквы на руке моряка, делает особенно красивым крючок J, петлю на Р и конечную N²⁴ – все это с любовью к завоеванному орлом Востоку. Наполнив чернилами иглу, он приступает к букве J.

– Насколько я знаю, – замечает мистер Томолилло отчетливым голосом лектора, – Япония – центр искусства татуировки.

– Вовсе нет, – отвечает моряк. – Когда я там был, татуировки находились под запретом.

– Под запретом? – изумился Нед. – Почему?

– Они считают это варварством. – Карми не отрывает глаз от второй буквы А; иглока ведет себя в его опытной руке как покорившийся воле наездника дикий мустанг. – Конечно, специалисты у них имеются. Но работают тайно. А так все там есть. – Он выводит последнюю

²³ Художественный фильм 1943 г. о дружбе мальчика из Йоркшира и шотландской овчарки Лесси.

²⁴ Ярап – Япония (англ.).

завитушку буквы N и вытирает губкой проступившую кровь, которая словно старается скрыть искусные линии. – Ну как, получилось то, что надо?

– Точно.

Карми делает из салфетки повязку и накладывает ее на орла и «Японию». Движением ловким, как у продавца, пакующего товар, он бинтует моряку руку.

Моряк встает и натягивает бушлат. У дверей толкуются, глаза на происходящее, школьники – худые, долговязые, с прыщавыми лицами. Не говоря ни слова, моряк достает бумажник, извлекает из него зеленую стопку и отстегивает Карми шестнадцать долларов. Деньги перекочевывают в бумажник мастера. Мальчишки отступают, чтобы дать дорогу выходящему из салона моряку.

– Надеюсь, мой обморок не очень вам помешал?

Карми ухмыляется.

– А как вы думаете, для чего я держу под рукой нюхательную соль? Здесь иногда и здоровых мужиков вырубают. Некоторых подбивают прийти дружки, а потом не знают, как отсюда выбраться. Сколько таких рвало вот в эту корзину.

– С ней никогда такого не было, – говорит Нед. – Она и раньше видела кровь. При рождении детей. На корриде. И так далее.

– Вы все на нервах. – Карми предлагает мне сигарету, я беру, другую берет он сам, Нед тоже не прочь покурить, а мистер Томолилло благодарит и отказывается. – Взвинчены – вот в чем дело.

– Почем сердце? – Голос принадлежит стоящему перед салоном мальчугану в черной кожаной куртке.

Его товарищи подталкивают друг друга локтями и по-щенячьи визгливо посмеиваются. Мальчуган растягивает рот в улыбке и тут же краснеет, как и россыпь прыщей у него на лице.

– Сердце с завитком снизу и чтобы поверх завитка имя?

Карми откидывается в крутящемся кресле и просовывает большие пальцы рук под пояс. Сигарета свисает с его нижней губы.

– Четыре доллара, – говорит он, не моргнув глазом.

– Четыре доллара? – Голос мальчугана меняется, он недоверчиво замолкает.

Все трое, сгрудившись, перешептываются между собой.

– Здесь нет ни одного сердца дешевле трех долларов. – Карми не испугать плотно сжатыми кулаками. – Если хочешь розу или сердце – изволь заплатить. Сколько надо, столько и плати.

Мальчуган нерешительно колеблется перед прейскурантом с изображениями сердец – мощными сердцами, сердцами, пронзенными стрелой, сердцами в венке из лютиков.

– А сколько стоит наколоть только имя? – спрашивает он дрогнувшим голосом.

– Один доллар. – Тон Карми предельно деловой.

Мальчуган протягивает левую руку.

– Я хочу Руфь. – Он проводит воображаемую линию через левое запястье. – Вот здесь... Если что, закрою его часами.

Двое его друзей, стоя в дверях, громко гогочут.

Карми указывает на стул и кладет недокуренную сигарету на стойку между баночек с красками. Мальчик садится, учебники покачиваются на его коленях.

– А если захочешь поменять имя? – задает как бы в пространство вопрос мистер Томолилло. – Зачеркнешь и напишешь сверху другое?

– Можно носить часы поверх старого имени, – предлагает Нед, – тогда будет видно только новое.

– А потом еще одни часы, – говорю я, – если появится третье имя.

– И так до тех пор, – кивает мистер Томолилло, – пока вся рука до плеча не покроется часами.

Карми сбивает редкие неряшливые волоски на запястье юнца.

– Тебе от кого-то здорово достанется.

Мальчуган нервно смотрит на запястье и нерешительно улыбается – эта улыбка явно сквозь слезы. Правой рукой поправляет учебники, стараясь удержать их на коленях.

Карми заканчивает разметку имени Р-У-Ф-Ь на запястье и держит иглу наготове.

– А тебе не поздоровится, когда она это увидит.

Но мальчуган уверенно кивает: мол, продолжайте.

– Но почему? – не понимает Нед.

– Попробуй сделать себе тату. – Карми строит гримасу крайнего отвращения. – И только одно имя! «Это все, чего я стою?» – скажет она. Ведь ей хочется роз, птиц, бабочек... – Иголка вонзается в руку, и мальчик вздрагивает, как жеребенок. – А если наколешь больше тату, чтоб доставить ей удовольствие, – роз...

– ...птиц и бабочек, – подсказывает мистер Томолилло.

– ...она скажет – голову даю на отсечение – скажет: «Стоило на это выбрасывать деньги?» – Карми быстро промывает иглу в чаше с антисептиком. – Женщин не переспоришь.

Несколько скупых капель крови проступает на четырех буквах – таких простых и черных, что кажется, это просто надпись, сделанная чернилами, а не татуировка. Карми накладывает узкую повязку поверх имени. Вся операция длится не более десяти минут.

Мальчуган выуживает из заднего кармана мятый доллар. Товарищи ласково хлопают его по плечу, и все трое вываливаются за дверь, подталкивая и сбивая с ног друг друга. Несколько прильнувших к окну лиц мгновенно растворяются под взглядом Карми.

– Неудивительно, что малыш не захотел татуированное сердце – что ему с ним делать? Уже на следующей неделе, поверьте, он прибежит с просьбой наколоть Бетти, или Долли, или еще какое-нибудь женское имя. – Карми вздыхает, подходит к картотеке, извлекает оттуда пачку фотографий – их он не вешает на стену – и пускает по кругу. – Хотелось бы мне сделать одну особую татуировку. – Карми откидывается в крутящемся кресле, упершись ковбойскими ботинками в картонную коробку. – Вот бабочка. У меня есть картинки охоты на кроликов. Женщин с ногами, обвитыми змеями и ползущими все выше, но я срубил бы кучу бабок, если б изобразил бабочку на женщине.

– Какую-нибудь необычную бабочку? – Нед смотрит на мой живот, словно это какой-то ценный пергамент.

– Дело не в том – *что*, а в том – *где*. По крылышку на каждом бедре. Бабочка, сидя на цветке, все время слегка трепещет крылышками. И тут, при малейшем движении женщины, крылья ходят туда-сюда, туда-сюда. Мне так нравится этот образ, что я сделал бы тату практически бесплатно.

Я представляю себе бабочку, увеличенную в десять раз, – тогда ее крылья протянутся от тазовой кости до коленной чашечки, но сразу отбрасываю эту мысль. Она хороша, только если тебе до ужаса надоела собственная кожа.

– Многие женщины просят наколоть бабочку именно в этом месте, – продолжает Карми, – но ни одна не согласится на фотографию после окончания работы. Даже без лица – просто от талии. Не думайте, что я не спрашивал. Можно подумать, что все в Штатах сразу же поймут, кто изображен на фото.

– А не могла бы это сделать ваша жена? – отваживается на рискованный вопрос мистер Томолилло. – Ради семейного бизнеса.

Лицо Карми болезненно морщится.

– Нет, – качает он головой, и в его голосе сквозит давняя горечь и сожаление. – Нет, Лора даже слушать об этом не хочет. Мне казалось, что со временем она привыкнет и приспособится

к моей работе, но этого не происходит. Иногда я даже думаю: для чего мне все это надо? Тело Лоры остается таким же белым, как и при рождении. Она *ненавидит* татуировки.

До этого момента я предвкушала – как же это было глупо! – будущие дружеские встречи с Лорой в салоне Карми. Я представляла себе гибкое, податливое тело: на каждой груди готовая вспорхнуть бабочка, на ягодицах цветущие розы, на спине стерегущий золото дракон, а на животе Синдбад-мореход в шестицветной красе. Весь жизненный опыт, думала я, изображен на этой женщине – по ней можно изучать саму жизнь. Как же я ошибалась!

Мы вчетвером сидим и молчим, утопая в сигаретном дыму, когда в салон входит упитанная, крепкая женщина, а за ней – мужчина с сальными волосами и мрачным, высокомерным выражением лица. На женщине – шерстяной пиджак цвета электрик, застегнутый под самый подбородок; розовый платок не скрывает блестящих белокурых волос и высокой прически помпадур. Она садится на стул у окна, не обращая внимания на «Голгофу», и пристально смотрит на Карми. Мужчина стоит рядом и тоже не спускает с Карми строгого взгляда, словно ожидая, что тот выстрелит без предупреждения.

Какое-то время сохраняется напряженное молчание.

– А вот и моя жена, – произносит Карми любезно, но как-то безучастно.

Я бросаю на женщину еще один взгляд и встаю со своего удобного места на ящике за плечом Карми. Сторожевая стойка вошедшего мужчины наводит меня на мысль, что он либо брат Лоры, либо ее телохранитель, либо низкопробный детектив, действующий по ее указке. Мистер Томолилло и Нед в едином порыве направляются к двери.

– Нам пора, – бормочу я, так как все остальные молчат.

– Попрощайся с людьми, Лора, – просит Карми жену.

Мне жаль Карми, я испытываю неловкость за него. Энергия покидает мастера, и веселая говорливость тоже.

Лора не произносит ни слова. С коровьим спокойствием она ждет, когда мы трое уберемся. Я представляю себе ее тело – мертвенно-бледное и полностью обнаженное, тело женщины, по-монашески невосприимчивой к ярости орла, страсти розы. А со стены зверинец Карми ревет и вожаденно пожирает ее глазами.

Дочери Блоссом-стрит

Так случилось, что мне не нужны предупреждения об ураганах в семичасовых новостях, чтобы понять, что меня ждет плохой день. Когда я иду по коридору третьего этажа больницы к своему кабинету, то первым делом вижу у двери карты пациентов – они появляются там так же регулярно, как утренние газеты. Сегодня стопка тощая, а поскольку четверг у нас полный рабочий день, я понимаю, что придется потратить добрых полчаса, звоня на разные посты регистратуры, чтобы отловить недостающие карты. Несмотря на раннее утро, моя белая блузка на пуговицах уже не кажется такой отутуженной, и я чувствую под мышками влажные местечки. Небо за окном низкое, туманное и желтое, как в Голландии. Я толчком открываю одно из окон, чтобы проветрить кабинет, но ожидаемого эффекта это не дает. Воздух неподвижный, тяжелый и сырой, как в прачечной. Я разрезаю бечевку на папках с записями, и с первой из них на меня смотрит красная печать: умер. умер. умер.

Я пытаюсь заменить буквы, чтобы прочесть: оглох²⁵, но это невозможно. Не могу сказать, что я суеверна. Пусть даже чернила на истории болезни и выглядят ржавыми, как засохшая кровь, но они всего лишь говорят, что Лиллиан Алмер умерла и номер девять-один-семь-ноль-шесть вычеркнут из списка живых раз и навсегда. Грим Билли на девятом посту снова перепутал номера – не нарочно, конечно. Тем не менее темное небо и признаки урагана на побережье, становящиеся все явственней с каждой минутой, говорят мне, что Лиллиан Алмер, мир ее праху, сделала все, чтобы мой день не задался.

Когда приходит моя начальница мисс Тейлор, я спрашиваю ее, почему не сжигают истории болезни людей с Блоссом-стрит, чтобы освободить место в картотеке. Если болезнь представляется интересной, отвечает она, историю сохраняют, чтобы вести статистику пациентов, которые живут с ней или умирают.

О Блоссом-стрит мне рассказала подруга Дотти Берриган из наркологического отделения. Когда я устроилась работать секретарем во взрослую психиатрию, именно она согласилась познакомить меня с больницей; ее кабинет располагается недалеко по коридору, и у нас много общих дел.

– Похоже, тут ежедневно умирает много людей? – спросила я.

– Не сомневайся, – ответила она. – Всех пострадавших в несчастных случаях и драках привозят к нам из Саут-Энда по «Скорой», и это так же неотвратимо, как налоги.

– И где же вы держите покойников? – Мне не хотелось по ошибке заглянуть туда, где они лежат штабелями, или попасть на вскрытие: первое время я слабо ориентировалась в бесконечных коридорах одной из величайших больниц мира.

– В помещении на Блоссом-стрит. Я тебе покажу. Врачи никогда не говорят «умерли», не хотят тревожить больных. Они спрашивают: «Сколько всего на этой неделе поступило на Блоссом-стрит?» А им отвечают: «Двое». Или: «Пятеро». Или сколько придется. Оттуда тела отправляются прямиком в похоронное бюро, где их готовят к похоронам.

С Дотти не поспоришь. Для меня она главный источник информации. Дотти бывает всюду: проверяет состояние алкоголиков в палате интенсивной терапии, сверяет показатели с врачами из психиатрического изолятора, не говоря о том, что ходит на свидания с мужчинами из числа сотрудников больницы, в одном случае даже с хирургом, а в другом – с интерном-персом. Дотти – ирландка невысокого роста, слегка полноватая, но эти недостатки она компенсирует со вкусом подобранной одеждой: на ней всегда что-то голубое, небесно-голубое – под цвет глаз, обтягивающие черные свитера, идеи для которых она черпает из журнала «Вог», и туфли-лодочки на высоком каблуке.

²⁵ В оригинале dead (мертвый) и deaf (глухой).

Кора из службы социальной психиатрической помощи – ее офис еще дальше по коридору – совсем не похожа на Дотти. Ей почти сорок, что видно по мешкам под глазами, но она постоянно подкрашивает свои рыжие волосы – спасибо оттеночным шампуням, которых теперь полно. Кора живет с матерью, и когда говоришь с ней, то не можешь отделаться от мысли, что перед тобой тинейджер. Однажды она пригласила к себе на ужин и бридж трех девушек из неврологии и поставила в духовку противень с замороженными пирожками с малиной. А через час была очень удивлена, найдя их по-прежнему холодными: оказалось, она просто забыла включить плиту. Во время отпуска Кора регулярно совершает автобусные поездки на озеро Луиз или круизы в Нассау, надеясь встретить там Мистера Совершенство, но всякий раз натывается там на девушек из онкологии или хирургии, приехавших с той же целью.

Как бы то ни было, в каждый третий четверг месяца на втором этаже в кабинете Ханневелла проходит собрание секретарского состава больницы. Кора забегают за Дотти, обе идут за мной, и вот мы втроем цокаем каблуками по каменной лестнице, чтобы оказаться в исключительно красивой комнате, посвященной, как гласит бронзовая табличка над дверью, в 1892 году доктору Августу Ханневеллу. Стекланные стелды хранят устаревшие медицинские инструменты, а на стенах висят выцветшие рыжевато-коричневые ферротипы с изображениями врачей времен Гражданской войны, у них длинные густые бороды, как у братьев Смит на коробочках с леденцами от кашля. Посреди комнаты, почти от стены до стены, протянулся огромный темный овальный стол из древесины грецкого ореха с ножками в виде львиных лап, только с чешуей вместо шерсти; столешница отполирована до такой степени, что в нее можно смотреться как в зеркало. Вокруг этого стола мы сидим, болтаем и курим, дожидаясь, когда придет миссис Рафферти и начнет собрание.

Минни Дэпкинс, миниатюрная белокурая секретарша из дерматологии, раздает желтые и розовые бланки направлений.

– Работает в неврологии доктор Кроуфорд? – спрашивает она, держа в руке розовый бланк.

– Доктор Кроуфорд? – Мэри Эллен из неврологии не может удержаться от смеха, ее крупное тело под цветастым платьем содрогается, как студень. – Он умер лет шесть, нет, семь назад. Кому он понадобился?

Минни плотно сжимает губки, и ее рот становится похож на розовый бутон.

– Пациентка сказала, что была у доктора Кроуфорда, – холодно произносит она. Минни не терпит неуважения к покойникам. Она работает в больнице с тех пор, как во время кризиса вышла замуж, и прошлой зимой на рождественском корпоративе секретарей ей вручили серебряную награду за двадцатипятилетнюю безупречную службу, но главное – она ни разу за эти годы не отпустила ни одной шуточки в адрес больного или покойника. Не то что Мэри Эллен, или Дотти, или даже Кора, которые не упустят случая пошутить.

– Девочки, как вы думаете, начнется ураган? – спрашивает Кора тихим голосом меня и Дотти, наклоняясь над столом, чтобы стряхнуть пепел в стеклянную пепельницу с больничным штампом на дне. – Я боюсь за машину. У нее от морского бриза мотор намокает и глохнет.

– Думаю, ураган не начнется до конца рабочего дня, – беспечно отвечает Дотти. – Успеешь доехать до дома.

– Мне все-таки не нравится, как выглядит небо. – Кора морщит веснушчатый нос, словно чует неприятный запах.

Мне небо тоже не нравится. С тех пор как мы вошли в комнату, темнело все быстрее, и сейчас мы сидим, можно сказать, в сумерках; плывущий от сигарет дым повисает в воздухе, делая его еще более тяжелым. Все замолкают. Похоже, что Кора озвучила общие опасения.

– Ну, что с вами, девушки? Мрачно, как на похоронах! – Над нами вспыхивают четыре люстры, и комната, как по мановению волшебной палочки, ярко освещается, прогнав штормовое небо туда, где ему и надлежало быть и откуда оно выглядит безобидно, как расписной

театральный задник. Миссис Рафферти подходит к председательскому месту, на ее запястьях весело позвякивают серебряные браслеты, а пухлые мочки ушей оттягивают игриво покачивающиеся серьги – миниатюрные копии стетоскопов. Она несколько суетливо раскладывает на столе бумаги; ее собранные в пучок крашенные белокурые волосы поблескивают при ярком свете. Даже у Кори лицо светлеет при виде такой профессиональной жизнерадостности.

– Сейчас быстренько обсудим текущие дела, а потом одна из девушек принесет кофе-варку, чтобы мы немного взбодрились. – Миссис Рафферти обводит взглядом стол, с удовлетворенной улыбкой встречая радостное одобрение ее слов.

– Надо отдать ей должное, – шепчет Дотти. – Что захочет – всегда продаст.

Миссис Рафферти начала с выговора, сделанного, однако, жизнерадостным голосом. На самом деле миссис Рафферти – буфер. Между нами и иерархами из администрации, между нами и докторами с их странными, бесконечными причудами и слабостями, жутким, неразборчивым почерком (говорят, миссис Рафферти сказала, что даже дошколята пишут лучше), их детской неспособностью приклеить предписания и рецепты на нужную страницу в истории болезни и так далее.

– Так вот, девочки, – говорит миссис Рафферти, игриво подняв пальчик, – поступают жалобы по ежедневной статистике. На некоторых документах нет печати или даты. – Она останавливается, дав нам прочувствовать всю тяжесть этого проступка. – Иногда неправильно подсчитаны суммы. А некоторые документы, – еще одна пауза, – вообще не доходят по назначению.

Тут я опускаю взгляд и изо всех сил стараюсь не покраснеть. Виновата не я, а моя начальница, мисс Тейлор, которая вскоре после моего поступления на работу призналась, что, откровенно говоря, терпеть не может статистику. Беседы пациентов со штатными психиатрами часто заканчиваются после официального закрытия клиники, и мисс Тейлор не может каждый вечер относить вниз статистические данные, если только она не собирается стать еще большей мученицей, чем есть.

– Думаю, тут все понятно, девочки. – Миссис Рафферти заглядывает в свои записи, наклоняется, делает пометку красным карандашом, потом выпрямляется – легкая, как тростинка. – Вот еще что. В регистратуру поступают звонки с запросами на документы, которые хранятся у вас в сейфе, и это их просто выводит из себя...

– Кто кого еще выводит, – добродушно возражает Мэри Эллен, закатив глаза так, что на мгновение видны только белки. – Этот парень – как его там – с пункта номер девять ведет себя так, словно его раздражают наши звонки.

– Да, это Билли, – подтверждает Минни Дэпкинс.

Ида Клайн и другие девушки из машбюро с первого цокольного этажа хихикают, но потом умолкают.

– Думаю, девушки, вы знаете, – миссис Рафферти обводит взглядом всех за столом и понимающе улыбается, – что у Билли есть проблемы. Поэтому не будем к нему слишком строги.

– Он не состоит на учете в твоём отделении? – шепчет Дотти.

Едва я успеваю кивнуть, как миссис Рафферти словно обдает нас ушатом ледяной воды одним лишь взглядом лучистых зеленых глаз.

– У меня тоже есть жалоба, миссис Рафферти, – говорит Кора, воспользовавшись паузой. – Что творится у нас на ресепшен? Для встречи с представителями социальной службы я прошу наших пациентов приходить на час раньше, с учетом времени на очередь, уплату денег в кассу и так далее. Но и этого не хватает. Пациенты звонят снизу в отчаянии, говорят, что опаздывают уже на десять минут, очередь не движется по полчаса. Наши социальные работники тоже ждут. Ну и скажите, что мне делать в такой ситуации?

На мгновение миссис Рафферти опускает взгляд и смотрит в свои записи, словно ищет в них ответ на вопрос Кора. Вид у нее почти смущенный.

– Не только вы на это жалуетесь, Кора, – говорит она, поднимая наконец глаза. – На ресепшен не хватает персонала, и на оставшихся ложится тяжелый груз...

– Взяли бы еще людей, – смело предлагает Мэри Эллен. – Я хочу сказать, кто им мешает?

Миссис Рафферти переглядывается с Минни Дэпкинс. Минни потирает бледные сухие руки и по-кроличьи облизывает губы. За открытым окном внезапно начинает дуть слабый ветер – по звуку кажется, что вот-вот пойдет дождь, но это ветер носит по улице шелестящие обрывки газет.

– Думаю, мне пора это озвучить, – начинает миссис Рафферти. – Некоторые уже знают. Минни, например. Открытая вакансия не предлагается никому из-за... Эмили Руссо. Расскажи им, Минни.

– У Эмили Руссо, – объявляет Минни с похоронным видом, – обнаружили рак. Сейчас она лежит в нашей больнице. И я говорю тем, кто ее знает, что она хочет быть среди людей. Эмили ощущает потребность в общении, так как у нее нет родных, которые поддержали бы ее...

– Я этого не знала, – протяжно произносит Мэри Эллен. – Мне стыдно.

– Рак выявили на последнем обследовании, – продолжает миссис Рафферти. – Сейчас она висит на волоске. Новейшие лекарства, конечно, подавляют боль. Но болезнь не отступает. Сама Эмили рассчитывает вернуться к работе. Она любит свою работу, отдала ей сорок лет жизни, и доктор Джилмен не хочет, чтоб она знала настоящее положение вещей, скрывает, что к работе ей не вернуться, боясь, что это известие может вызвать у нее шок и ускорить конец. У каждого, кто ее навещает, она спрашивает: «Мое место еще свободно? На ресепшен никого не взяли?» Как только ее место займут, Эмили увидит в этом свой смертный приговор – полный и окончательный.

– А как насчет временной замены? – предлагает Кора. – Можно сказать, что взяли человека на время ее отсутствия.

Миссис Рафферти покачивает аккуратной золотистой головкой.

– Нет, Эмили ни за что в это не поверит; она подумает, что мы ее дурачим. У людей в ее положении чувства обострены. Рисковать нельзя. Когда есть возможность, я сама иду на ресепшен и помогаю. Доктор Джилмен говорит, – голос ее дрожит, – что ей осталось совсем мало.

Кажется, что Минни вот-вот заплачет. Собравшиеся уже не в том настроении, в каком были, когда вошла миссис Рафферти: кто-то грустно дымит сигаретой, кто-то мрачно ковыряет лак на ногтях.

– Ну, девочки, возьмите себя в руки. – Миссис Рафферти уже овладела собой и обводит стол обнадеживающим взглядом. – Эмили лечат лучшие врачи. Уверена, вы все согласитесь, что доктор Джилмен относится к ней как к родной, ведь они знакомы десять лет. Вы тоже можете ее навещать, она будет рада...

– Может, принести ей цветы? – предлагает Мэри Эллен.

Слышится одобрителный шепот. Каждый раз, когда кто-нибудь из нас заболевает, или объявляет о помолвке, или выходит замуж, или рождает ребенка (это случается реже, чем все остальное), или бывает отмечен наградой, мы скидываемся и покупаем цветы или подобающий случаю подарок, сопроводив его поздравительной открыткой. Но такой скорбный повод у нас впервые, и должна сказать, что все девушки показали себя с наилучшей стороны.

– Может, купим розы? Нужно что-то светлое и радостное, – предлагает Ида Клайн.

– А может, венок? – робко спрашивает недавно поступившая к нам на работу юная машинистка. – Большой венок из розовых цветов – например, гвоздик?

– Нет, только не венок! – стонет миссис Рафферти. – Эмили такая ранимая, ради бога, не надо.

– Тогда можно вазу, – говорит Дотти. – Сестры постоянно жалуются на нехватку ваз. Купим красивую вазу в нашем магазине подарков, у них есть и импортные, и поставим в нее букет от больничного флориста.

– Прекрасная мысль, Дороти, – с облегчением вздыхает миссис Рафферти. – Будем думать в этом направлении. Кто согласен на вазу с букетом?

Все, в том числе и юная машинистка, подняли руки.

– Тогда займись этим, Дороти. Девочки, деньги – кто сколько может – передайте Дороти, пока мы не разошлись, а открытку подпишем все вместе сегодня же.

Собрание заканчивается, все переговариваются между собой, некоторые девушки вытаскивают из сумочек долларовые банкноты и протягивают через стол Дотти.

– Тише! – призывает миссис Рафферти. – Пожалуйста, потише, девочки, еще одну минуту! – В воцарившейся тишине за окном слышится сирена приближающегося автомобиля «Скорой помощи», ее мощный рев слабеет за углом и полностью замирает у входа в приемное отделение. – Я вот что хочу сказать, девочки. Вы, наверное, беспокоитесь насчет урагана. По последним известиям из Главного управления, к полудню ветер может усилиться, но волноваться не стоит. Сохраняйте спокойствие. Работайте как обычно (оживленный смешок машинисток), и главное – никаких признаков волнения при пациентах. Они и без того нервничают. Те из вас, кто живет далеко, в случае серьезной непогоды могут остаться на ночь в больнице. Раскладушки у нас есть, и мы выделим на этот случай весь третий этаж, он уже размечен, если только не произойдет ничего экстраординарного.

В эту минуту вращающаяся дверь с шумом открывается, и медсестра вкатывает в комнату сервировочный столик с кофеваркой. Ее туфли на резиновой подошве скрипят, словно она наступают на живую мышь.

– Перерыв, – объявляет миссис Рафферти. – Приглашаем всех выпить кофе.

Дотти уводит меня подальше от столпившихся вокруг кофеварки коллег.

– Кора обязательно будет пить кофе, но он такой горький, что у меня желудок не выдержит. Да еще в бумажных стаканчиках. – Дотти с отвращением морщится. – Давай лучше прямо сейчас пойдем и потратим собранные деньги на вазу и цветы для мисс Эмили.

– Хорошо, – соглашаюсь я.

Мы выходим из комнаты, и я обращаю внимание, что Дотти замедляет шаг.

– Эй, что с тобой? Ты что, не хочешь покупать вазу?

– Дело не в вазе. Просто мне противно, что старушку обманывают. Она умирает, ей нужно достойно встретить конец, привыкнуть к этой мысли, поговорить со священником, а не слушать наши сюсюканья.

Дотти рассказывала мне, что приняла послушание, когда поняла, каков в действительности наш мир, и теперь не может больше опускать глаза долу, смиренно складывать руки и молчать – для нее это так же противоестественно, как, стоя на голове, называть буквы греческого алфавита в обратном порядке. Время от времени я ощущаю в ней монастырское влияние: оно проступает, как чистая, свежая кожа под ее любимой розовой и персиковой пудрой.

– Тебе бы заняться миссионерством, – говорю я.

К этому времени мы уже находимся у магазина «Подарки», который сам похож на нарядную подарочную коробку и до потолка забит всякими модными штучками: рифлеными вазами, чашками для завтрака, расписанными сердечками и цветочками, куклами в свадебных платьях, синими фарфоровыми птицами, карточными колодами с золотым обрезаем, искусственным жемчугом. Чего там только не было, и все казалось настолько дорогое, что могло быть по карману только любящему родственнику, который уже настроился на определенный подарок, не думая о цене.

– Меня так и подмывает рассказать ей все, – говорит Дотти, берет в руки большую красную вазу из пузырчатого стекла с широкой рифленой полосой у края и внимательно ее разглядывает. – Прямо передергивает от этого уверенного подхода «Нам лучше знать». Иногда мне кажется, не будь этих обследований на онкологию или Национальной недели диабета, где каждый может в специальной кабинке проверить уровень сахара, рака и диабета было бы гораздо меньше, если ты понимаешь, о чем я говорю.

– Ты говоришь как проповедники «Христианской науки»²⁶, – замечаю я. – И на мой взгляд, эта ваза слишком яркая для такой пожилой женщины, как мисс Эмили.

Дотти как-то загадочно улыбается, относит вазу к кассе и отсчитывает шесть долларов. Вместо того чтобы отложить кое-что на содержание кошек, Дотти добавляет на вазу пару собственных долларов, и я следую ее примеру. За соседним прилавком флорист потирает руки и спрашивает, чего мы хотим: ему все равно, для чего предназначаются цветы – для торжества или похорон. Может, дюжину роз с длинными стеблями или васильки с подмаренником, перевязанные серебряной лентой? Дотти протягивает ему красную пузырчатую вазу:

– Всего понемногу, дорогой. Только заполни ее.

Флорист внимательно смотрит на Дотти. На его лице легкая улыбка, но он не торопится исполнить ее просьбу, опасаясь, что это всего лишь шутка.

– Ну, давай, что ли. – Дотти стучит вазой по стеклянному прилавку, отчего флорист нервно вздрагивает и спешит взять у нее вазу. – Как я сказала – всего понемногу. Десять роз, гвоздики и еще вот этих – как их там?

Флорист следит за пальцем Дотти.

– Гладиолусы, – подсказывает он несчастным голосом.

– Да, их – красный, оранжевый, желтый – и парочку пурпурных ирисов.

– Они хорошо подходят к вазе, – одобряет флорист, начиная понимать ее замысел. – А как насчет нескольких анемонов?

– Можно, – соглашается Дотти. – Правда, получится немного пестро.

Мы быстро покидаем флориста, минуем крытый проход между поликлиникой и больницей и поднимаемся на лифте на этаж мисс Эмили. У Дотти в руках красная ваза с огромным букетом.

– Мисс Эмили? – шепчет Дотти, когда мы на цыпочках входим в четырехместную палату. Из-за занавески в дальнем углу около окна выскальзывает медсестра.

– Тс-с, – прикладывает она палец к губам и указывает на занавеску: – Вам туда. Но не задерживайтесь.

Мисс Эмили утопает в подушках, ее глаза, занимающие пол-лица, открыты, седые волосы веером разметались вокруг головы. На медицинском столике, на полу под кроватью и вокруг кровати – бутылки, сосуды и разнообразные стеклянные контейнеры. Из двух бутылок тянутся резиновые трубочки, одна исчезает под одеялом, а другая входит в левую ноздрю мисс Эмили. В комнате слышится лишь ее сухое, сиплое дыхание, и никакого движения – только легко поднимается и опускается простыня на ее груди, да еще в одной из бутылочек с жидкостью серебристые пузырьки воздуха ритмически устремляются вверх. В люющем из окна нездоровом, предвещающем непогоду свете мисс Эмили напоминает восковую куклу, но устремленный на нас взгляд настолько живой и острый, что, кажется, обжигает кожу.

– Эти цветы вам, мисс Эмили, – говорю я и указываю на вазу с множеством разноцветных тепличных цветов, которую Дотти ставит на медицинский столик.

Стол такой маленький, что Дотти приходится прежде освободить его от банок, стаканов, кувшинчиков и ложек, переставив все это на нижнюю полку.

²⁶ Религиозное течение, созданное в 1879 г. Мэри Бейкер Эдди.

Взгляд мисс Эмили плавно скользит к охапке цветов. Что-то вспыхивает в ее глазах. Мне кажется, я вижу две свечки в глубине длинного коридора, их крошечное пламя затухает и снова вспыхивает на ветру. Небо за окном чернее дна чугунной сковороды.

– Это девушки вам прислали. – Дотти берет лежащую на покрывале неподвижную восковую руку мисс Эмили и сжимает ее в ладонях. – Потом еще будет открытка, все ее подпишут, но нам не хотелось ждать, и мы решили поскорей принести вам цветы.

Мисс Эмили пытается что-то сказать. Однако с ее губ слетает лишь что-то неразборчивое – не то шипение, не то свист. Слов не разобрать. Но Дотти, похоже, ее понимает.

– Работа ждет вас, мисс Эмили, – говорит она, отчетливо произнося каждое слово – так малым детям объясняют самые простые вещи. – Это место держат специально для вас.

Удивительно, но миссис Рафферти произнесла бы те же самые слова, подумала я. Только она прибавила бы что-то еще и тем самым лишь все бы испортила: «Да вы скоро встанете на ноги, мисс Эмили, не волнуйтесь!» Или: «Вы еще поносите золотой браслет за пятьдесят лет безупречной службы! Вот подождите и увидите».

Дотти не тот человек, чтобы искажать факты. Она не врет, когда говорит, что все на ресепшен носят как безумные, и тем самым показывает, как незаменима мисс Эмили. Вот так – ни больше ни меньше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.